

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

МУК РЯЗАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

МУЗЕЙ С.А. ЕСЕНИНА

ГЧК-663

4071-159

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1926 * ЛЕНИНГРАД



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

МУК "РЯЗАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

МУЗЕЙ С.А. ЕСЕНИНА"

ГЧК-663

А071-159

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в 1-й Образцовой
типографии Госиздата (Москва,
Пятницкая, 71) в колич. 10.000 экз.
Гиз № 15.560. Главлит № 52.408.
Обложка Б. Б. Титова, гравирована
на дереве Ф. П. Денисовским. Тех-
ническая редакция В. В. Гольцева.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Есенин вошел в нашу отечественную поэзию со стихами о деревенской Руси. За исключением последнего периода творчества, у Есенина почти нет лирики любви. Место любимой у поэта занимает Русь, родина, родной край, нивы, рощи, деревенские хаты:

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

Русь Есенина встает в тихих заревых вечерах, в багрянце и золоте осени, в рябине, в аржаном цвете полей, в необъятной сини небес. У поэта преобладает золотое, малиновое, розовое, медное и синее. У него даже лес вызывает хвойной позолотой. „О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку“. Поэт хорошо воспринимает также осеннюю грусть, журавлиную тоску сентября,

древность наших вечеров, заунывность наших песен, печаль наших туманов, одиночество и забытость наших хат, солончаковую тоску, немоту синей шири.

Русь Есенина в первых книгах его стихов — смиренная, дремотная, дремучая, застойная, кроткая, — Русь богомолоч, колокольного звона, монастырей, иконная, канонная, Китежная. Правда, поэт знает и чувствует темноту этой Руси, он слышит звон кандалов Сибири, называет свою страну горевой, но вдохновляет его в „Радунице“, в „Голубени“ не это. Деревенский уклад, деревенский быт взяты поэтом исключительно с идиллической стороны. Каторга сельского подъяремного труда, непосильность, измызганность житья-бытья крестьянского, весь предреволюционный, накопленный веками социальный гнев, ненависть, злоба, мятежность деревни остались за пределами художественного восприятия поэта. Его деревня живет в нерушимом мире и в покое. Как будто нет ни помещика, ни кулака, ни урядника, ни лютой бедности. В хатах пахнет драчеными, квасом, тихо ползают тараканы; „старый кот к махотке крадется на парное молоко“, „из углов щенки кудлатые ползают в хомуты“. В поле „вяжут девки косицы до пят“, косари слушают сказы стариков. Сохнет рожь, не всходят овсы: нужен молебен. Все тихо грезит, все издавна отстоялось, прочно осело; ничто

и никто не угрожает твердости этого уклада. От этой неподвижности хаты, овины, поля, речки, люди, животные кажутся погруженными в полусон, в полуживь. Даже такие „случаи“, как набор рекрутов, не нарушают этой идиллии. Рекруты играют в ливенку, гоняются за девками, развеваются платки, звякают бусы. Сотские оповестили под окнами итти на войну. Безропотно, безответно, покорно собираются пахари класть животы свои на поле брани.

Всёконечно, деревня далека была от этой безжалобности, беспечальности и кротости. Она пережила уже 1905 год, когда по помещичьим угожьям основательно погулял красный петух и царская опричина в кровь и в смерть „успокаивала“ крестьянство, когда деревенские антагонизмы достигли почти предельной остроты, напряженности и глубины. В повестях Ив. Вольнова уже отчетливо выглянула и новая деревня кануна революции. Во фронтовых записях Софии Федорченко, вопреки воле автора, с достаточной выпуклостью показаны наличие и рост того стихийного большевизма среди солдат, опираясь на который, рабочий совершил впоследствии Октябрьскую революцию. Все это общеизвестно. Гораздо интереснее иное. Есенин — не барчук, не дворянчик, не патриотический интеллигент, чуждый по своему характеру и складу деревне, кто слащаво и

не без задней мысли часто воспевал мирных мужичков-пейзанов, безропотно поставлявших в поте лица своего снесь, злаки, натуральные и денежные оброки, соответственную арендную плату выродкам и пенко-снимателям, умилявшимся в барах и ресторациях кротости меньшого брата. В стихах Есенина, в некоторых мотивах, чувствуется сын земли, сын хаты, деревенский кудрявый парень, от ливенки и частушки пришедший в город со своими песнями, навеянными ивовой грустью, малиновыми зорями, овсом и рожью. Есть в них искренняя любовь к скирдам, к тополям и рощам, к коровам и кобылам. Оттого у поэта „рыжий месяц“ жеребенком запрягается в наши сани или кажется щенком, либо ягненком, который гуляет в голубой траве, заря на крыше — котенком, моющим лапкой рот, волосы любимой — снопом волос овсяных, солнце — желторотым отроком, вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под уздцы, тучи плывут и рвутся о солнечный сошник, мрак плывет синим лебедем, вьюга уподобляется тройке, „тучи с ожереба рвут, как сто кобыл“, „небо — словно вымя, звезды — как сосцы“, и т. д. И нужно верить словам поэта:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

„Неизреченной животностью“ полны для поэта не только края родимые, но и небо, солнце, вселенная. И когда поэт пишет о мокрой буланой губе, о ячменной соломе, свисающей с губ кивающих коров, о смоле качающихся грив, — эта „неизреченная животность“ материально ощущается читателем. Это — органическое, свое, настоящее, а не наносное со стороны, хотя часть образов и кажется вычурной. Есенинская любовь к родной деревне питается прежде всего этой „неизреченной животностью“.

Почему же, однако, поэт, чуткий к журавлиной тоске сентября, к мокрой буланой губе, к меди нашей осени, прошел мимо той деревни, которая не только беззлобно и беспечально растягивала тальянки и покорно набивала свои вагоны — сорок человек и восемь лошадей, но и боролась против „прижима“, а позднее воткнула штыки в землю, свергла „прижимы“ и осоветилась? Ответ на этот вопрос следует искать в религиозности Есенина. И „Радуница“, и „Голубень“, и „Трирядница“, и иные многие стихи поэта окрашены и пропитаны церковным, религиозным духом. Со златой тучки глядит Саваоф, среди людей ходит с дорожной клюкой кроткий и голодный Спас, путешествует мужичий святой Микола, на легкокрылых облаках спускается „возлю-

бленная мати". В предисловии к последнему собранию своих стихов Есенин сообщает:

„Самый щекотливый этап,—это моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях. Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности. На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдавливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отрочком меня таскала по всем российским монастырям бабка. Литературная среда 1913, 1914, 1915 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка; поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отмахиваюсь сейчас руками и ногами. Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я — реалист, и если есть что-нибудь туманное во мне для реалиста, то это — романтика, не старого нежного и домообожяемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения... Мистики напоминают мне иезуитов. Я просил бы читателей относиться ко всем моим Иисусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии“.

Оставляя пока в стороне вопрос о том, является ли религиозный этап творчески принадлежащим поэту, нужно отметить, что на творчески принадлежащем поэту несомненно пагубно отразилась дедовская религиозность. На примере ранних поэтических произведений Есенина очень отчетливо и показательно видно, как религиозность и прочие подобные „протухшие настроения“ застят глаза, как в тумане этих настроений скрадываются, мутнеют, становятся незаметными реальные очертания вещей и людей, как вместо твердых, упрямых, четких контуров и линий действительности выступают нежные, обманные пятна, мзга, хмарь, — недаром у Есенина линия в поэзии отсутствует, и он — поэт мягкого багрянца и золота, — как живая жизнь в туманах мистики преобразается в фантазмы, в баюкающие миражи, в тихие беспечальные острова блаженных. Отсюда один только, и притом неременный, шаг к кротости, к идилличности, к послушанию, к смирению и прочим добродетелям, очень выгодным для властелинов и опричников. Благодаря этому разлагающему и размягчающему влиянию дедовской прививки и получилось то, что, реалист по духу и по направлению своего творчества, Есенин не отразил ту деревню, которую мы имели в действительности. По силе сказанного его поэтические произведения рассматри-

ваемого периода являются художественно реакционными, вопреки народной крепкой, здоровой, полнокровной „неизреченной животности“, так животрепещущей в этих же стихах.

Какую-то довольно заметную роль в этой религиозности, помимо деда, сыграла одна глубоко индивидуальная черта поэта: „Что прошло, то будет мило“. Вот это прошлое, ставшее милым и саднящее сердце своей невозвратностью, своим „никогда“ — очень прочное поэтическое настроение Есенина, прочное и давнее. Обращаясь к друзьям своих игрish, Есенин пишет:

В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то,
И лишь попрежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я, в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки
Молю сь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.

Заметьте, пишет это поэт-юноша, только что вступающий в жизнь. К теме о невозвратном прошлом поэт возвращается постоянно и позднее. Здесь он наиболее искренен, лиричен и часто поднимается до замечательного мастерства. Стихотворения „Не жалею, не зову, не плачу“, „Не бродить, не мять

в кустах багряных“ — несомненно, останутся. Однако томление и грусть о прошлом, достигая большой силы и напряжения, при пассивном и созерцательном отношении к жизни, легко могут питать „дедовскую“ религиозность: они ведут к настроениям и мыслям „о бренности и тленности земного“ и дальше и молитве, жажде загробной жизни; с другой стороны, дедовская прививка сама усугубляет грусть о том, что „отоснилось навсегда“.

Анализ первоначальных психологических моментов, из которых складывалась поэтика Есенина до революции, был бы неполным и односторонним, если не упомянуть и не учесть поэтических чувств его — совсем другого характера. Кротость, смирение, примиренность с жизнью, непротивленство, словословия тихому Спасу, немудрому Миколу — уживаются одновременно с бунтарством, с кандаличеством и прямой поножовщиной:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

Поэт говорит о том, что он полюбил людей в кандалах, не ведающих страха, их грустные взоры

со впадинами щек. Позднее эти настроения усилились, окрепли и вдохновили его на „Песни забулдыги“, „Исповедь хулигана“, „Москва кабацкая“. Есенин вспоминает себя забиякой и сорванцом и утверждает: „Если не был бы я поэтом, то, наверно, был мошенник и вор“. Есть в этом опоэтизировании забулдыжничества нечто от деревенского дебоша парней, от хулиганства, удали, отчаянности, от неосмысленной и часто жестокой траты сил, а это, в свою очередь, связано с нашей исторической пугачевщиной и буслаевщиной. При этом забулдыжничество юродиво сочетается со смиренностью, молитвой и елеем: нигде нет столько разбойных и духовных песен, как в нашем темном прошлом. Об этом ниже; пока же довольно будет сказать, что, в отличие от дедовской прививки, хулиганство хотя и очень кривое, но все же активное чувство, особенно если оно окрашено некоей социальностью. Все, что шло у Есенина отсюда, побуждало его писать в противовес елейным акафистам. В юношеской поэме „Марфа Посадница“ Есенин призывает вспомнить завет Марфы: „заглушить удалю московский шум“, заставить царя дать ответ, разбудить Садко с Буслаем, чтобы с веча вновь загудел колокол. Все это звучит совсем не по-дедовски. Тем не менее, дедовская прививка пока очень сильна и явно перетягивает поэта к песням с цер-

ковной настроенностью. Сейчас это производит дикое впечатление, но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

II

В революции Есенин надеялся увидеть торжество „овсяных волей“, „мокрой буланой губы“, нового мужицкого сеятеля, его идеалов и чаяний. И он достаточно ярко отразил в своих стихах собственные взгляды и надежды нашего крестьянства, с которыми оно вошло в революцию, но отразил в мистической форме.

Прежде всего об этой форме. Она не случайна у Есенина. Если бы поэт сумел связать овсяную мужицкую волю с крепкой, железной, дисциплинированной волей русского и европейского рабочего, найти стык крестьянских надежд с идеями классаводителя, определить место и удельный вес крестьянина и рабочего в ходе русской революции,—он, наверное, нашел бы иные слова и образы, сложил бы другие песни, более реалистические, более соответственные и контактные главным этапам революционной борьбы. Но действительный характер революции остался для поэта непонятным и непонятым, но русская революция как торжество диктатуры пролетариата, поставившего себе коммунистические цели и

663
МУЗ. "РЯЗАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА"

задачи, была для Есенина чужой. Революция застала Есенина с песнями „о неизреченной животности“, о кротком Спасе, о хулиганстве и буслаевщине, о журавлиной тоске сентября; то, что мешало ему раньше разглядеть настоящую деревню, не позволило распознать и реальный ход революции с ее борьбой классов, с противоречиями, со всеми ухабами, провалами и победами и, в частности, с очень запутанными, сложными взаимоотношениями между пролетариатом и крестьянством. Как сын деревни, выросший среди табунов, он не мог не пропеть победе народных масс свое „осанна!“. И он пропел. Но наличие заумных настроений, полнейшая чуждость рабочему естественно должны были привести поэта к своеобразному имажинистскому символизму, к мужицким религиозным отвлеченным акафистам, к непомерному „животному“ гиперболизму, к причудливому сочетанию язычества времен Перуна и Дажбога с современным космизмом, к жажде преобразить вселенную в чудесный, счастливый мужицкий рай. Символизм и мистика всегда подменяют живой образ, когда действительность ускользает в своих точных очертаниях, ибо символ по природе своей абстрактен, тогда как образ живет только в определенном времени и пространстве. Для Есенина символические приемы тем более разительны, что он,

вообще говоря, поэт с исключительной силой образного, конкретного изображения; но даже такой дар овеществления образов не спас поэта от туманной имажинистской заумной символики: дедовская прививка и тут жестоко мстит поэту.

Революция во многом все-таки преобразила поэта. Она выветрила из него затхлую, плесенную церковность:

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых,
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоём часослове я
Прокляю моим клювом стихов...

(„Инония“.)

Это — хорошо по существу: с Китежем и с часословом в эпоху социальной революции, в век сверх-капитализма и сверх-империализма далеко не уедешь. Но старый Китеж можно подменить новым, вместо древнего часослова можно попытаться написать другой, свой. Так оно на самом деле и есть у Есенина. Поэту

мерещится, что революция несет с собой новый Назарет. Назарет этот сойдет на землю новым Спасом: „Новый на кобыле едет к миру Спас“. Он сойдет на землю напоить наши будни молоком, преобразит чудесно мир. О чудесном госте и сеятеле у Есенина — в „Пришествии“, в „Преображении“, в „Октоихе“. Поток звонких рифм, каскад причудливых образов (орнамент), но цельной картины нового рая не получается, да и самого рая нет. Остается отпечаток душевной сдвинутости, перетряски, приподнятости, какого-то сверх-умного пафоса, ожидания необыкновенных преобразений, в которых земная твердь смешается с небесной, реальное — со сказкой, с фантазмами, но „глагол судьбы“ остается темным, нераскрытым, неразгаданным, вещие слова не затрагивают сердца, в чудо не веришь. Так не убеждают. В конце концов, здесь только метафора, игра образами, а не подлинное пророческое прозрение. Рай никогда не призрачен, он всегда во плоти и в крови, а не „в духе“. Между тем, для Есенина его рай, его „Инония“ — не метафора, не сказка, не поэтическая вольность, а ожидаемое будущее. В статье об имажинизме „Ключи Марии“ поэт пишет: „Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева“.

Поэтому Есенин недаром собирается просунуть свою голову во вселенную, колесами солнце и месяц надеть на земную ось, встряхнуть за уши горы, смести все заборы и тыны, как пыль, и т. д. В этом гиперболизме нужно видеть устремление от земного „к сдвигу космоса“. Только этот космизм — животный. Поэт превращает небо в пастбище, солнце и луну — в животных, заставляет месяц щениться златым щенком, звезду — слетать малиновкой. Здесь „неизреченная животность“ раздвигает пределы хлевов, изб, полей, покрывает собой вселенную, превращая ее в одно вселенское мужицкое счастливое хозяйство. Наши пролетарские поэты одно время усиленно проповедывали заводский, фабричный космизм и пантеизм. Есенин проповедует, в противовес им, космизм хозяйский, животный. Получается сочетание космических настроений XX века с первобытным язычеством, когда божества, духи находили свое местожительство в домашних и прочих животных. Отсюда — отвлеченная схоластика. От церковности Есенин пришел не к материализму, а к этой помеси язычества с новейшим пантеизмом.

За всем тем его „Инония“ представляет значительный шаг вперед, так как знаменует отход от церковности к реальному миру. Ожидаемый мужицкий рай рисуется в поэме в целом очень конкретно:

И вспашу я чёрные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистый звон,
И, как жерди золотые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей,
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней...

Вполне реалистическая картина. Имя же этой „Инонии“ — общество мелких, свободных, равных, вольных, с достатком хлебопашцев, сбросивших иго податей, оброков, чиновников, помещиков, капиталистов. Чтобы не оставить на этот счет сомнений и разнотолков, следует напомнить следующие прозаические строки из статьи Есенина „Ключи Марии“. Поэт представляет себе грядущее творчество как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего дерева, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, — где нет податей за пашни, где „избы новые, кипарисовым тесом крытые, где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу

все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш с сычёною брагой“.

„Инония“ Есенина есть идеал нашего мелкого трудового собственника-крестьянина. Века крепостного, помещичьего, полицейского гнета воспитали в нем жажду покончить со старым, разбить это старое вдребезги и водрузить общежитие вольных деревень без государства, без податей, чтобы вся земля была крестьянская, „божья“, чтобы она утучнена была рожью, овсом и всякими злаками, чтобы не было недостатка в лесе, в скотине. Эта жажда лучшего, иного, несомненно, в борьбе с царизмом, с крепостничеством сыграла крупнейшую и благотворнейшую роль. Своеобразно, с мистикой, в нарочитых имажинистских образах Есенин отразил это в своих стихах об „Инонии“, прокляв „Радонеж“ и „тело Христово“.

Протест и борьба нашего крестьянства были направлены, однако, не только против царского и помещичьего гнета. Старый патриархальный уклад с неслыханной жестокостью и быстротой ломался капиталом. Деревню подминала под себя фабрика, завод, а деревенские устои подтачивались рублем и свистом машины; протянулась чугунка, пришел чумазый. Не отдавая себе ясного отчета в складывающейся социально-политической и бытовой обста-

новке, люди есенинского склада, видя, как рушатся „устои“, сплошь и рядом склонны часть своих бед взвалить на машины, заводы, железные дороги, как таковые, взятые сами по себе, безотносительно. Мертвящему лязгу Америки, „электрическому восходу“, „глухой хватке ремней“ Есенин посвятил немало вдохновенных строк. В „Сорокоусте“ его антимашинный лиризм поднялся до неподдельного пафоса:

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок.
Милый, милый смешной дуралей!
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?

.

Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой...

Одно время Есенину казалось, что русская революция, расчистив место для мужицкой „Инонии“, уничтожит также и железного гостя. Он пророчит гибель Америке; он уверен, что лавой стальной руды она не зальет огневого брожения революции. В статье об имажинизме Есенин писал, что мир крестьянской жизни умирал, „как выплеснутая волной на берег земли рыба“. Этот мир должна спасти революция: этот вихрь, который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплуатации массовых сил, явился нам, как ангел спасения к умирающему, он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: „Возьми одр твой и ходи!“. Отсюда ведь и стихи об „Инонии“.

Надежды, однако, не оправдались, не сбылись, не могли сбыться. Революция наша безусловно несет крестьянству избавление не только от гнета помещика и царской опричины, но и от капитализма, но несет ее совсем по-иному, чем полагал Есенин. Рабочий, руководящий революцией, уничтожая капитализм, совсем не намерен отказать в гостеприимстве железному гостю. Наоборот, его социализм —

индустриальный, совсем не похожий на примитивную мужицкую „Инонию“ с сычёной брагой. Железный гость, в тысячи раз увеличивая производительность, освобождает человеческий труд; он дает возможность этот освобожденный труд при рациональном устройстве общества направить на другие, высшие сферы человеческой деятельности. Есенин полагает, что нельзя устремляться „в одно пространство чрева“. Вот именно. Железный гость несет миллионам трудящихся освобождение от таких устремлений, в том числе, и в первую очередь, деревне. Старый деревенский мир ломается и при капитализме и при индустриальном социализме. Но при капитализме ломка крестьянского мира сопровождается неслыханным пауперизмом, одичанием, рабством, сифилисом, проституцией, самогонкой. При социализме деревня органически, исподволь, путем наглядных примеров, в меру жизненной необходимости, в меру общественных потребностей, без сифилиса и проституции вводит к себе железного гостя. Разумеется, дело это — не одного и не двух лет: своего полного размаха процесс приобщения деревни к культуре достигнет только после прочной победы социальной революции. Трудности переходного периода, когда крестьянству приходится нести бремя очень тяжких повинностей, ни в какой мере не

имманентны социализму вообще, они временны даже в этот переходный период борьбы за социализм.

Людей есенинских настроений пугает общая механизация жизни, ее интегрирование, вырождение самого человека в машину. Так именно и нужно понимать трогательный образ красногривого жеребенка и воспоминание о временах печенегов. Но механизация жизни получается благодаря власти машины над человеком, а власть эта, в свою очередь, есть результат общественных отношений при капитализме, когда человек делается придатком к машине. Но коммунизм как раз стремится в корне эти отношения изменить, поставив человека господином творения рук своих. Социализм означает разумное подчинение железного гостя человеческому хотению и волеию. Освободившись от рабства машине, человек снова получит возможность поставить себя лицом к лицу с природой, с космосом. Он вернет себе „рай“ непосредственной жизни, общения с природой, разовьет в себе новые могучие инстинкты и будет глубоко и чутко переживать и чувствовать и приволье степей, и синь небес, и девственность лесов, и необъятность океана, и радость солнца. Мало того — перед ним раскроются „бездны“, пучины морей, полюсы, воздушная стихия и, может быть, миры. Он будет сознательно работать над

улучшением человеческой породы, внимательно следя за тем, чтобы человеческий индивид не превратился в марсианина Уэллса, в гомункулусов в реторте — там, где эта опасность будет обнаруживаться. Различие же от первобытного рая и мужицкой „Инонии“ этого общежития будет заключаться в том, что уничтожено будет господство стихийного нелепого случая, ибо первобытный рай хорош и гармоничен только до тех пор, пока не приходит неожиданно-негаданно господин Случай, а так как этот гость врывается постоянно и производит опустошения потрясающие, то все великолепие и гармония первобытного рая летят вверх тормашками. Это еще понимал прекрасно один из умнейших народников — Г. И. Успенский. По силе сказанного, железный гость при социализме по сравнению с гостем в лице господина Случая имеет то несомненное преимущество, что, давши „под микитки“ этому своему конкуренту, он нахальничать и своевоить не будет, а станет служить человеку верой и правдой по примеру домашних животных: запрягут — поедет, не нужен — постоит, отдохнет. Наши крестьянствующие писатели вместе с Есениным очень обеспокоены будущим человека. Но именно марксистский индустриальный социализм, внеклассовое, общечеловече-

ское общежитие венцом творения, центром земли делает человека. Он освобождает человека и от господства злого, нелепого, стихийного, неподвижного случая и от господства железного гостя над человеком путем разумного подчинения случая машине, а последней — человеку.

Кроме того, индустриальный социализм актуален, динамичен, а „преогромнейшее древо“ Сергея Есенина, по правде сказать, весьма смахивает на нашу российскую развесистую клюкву. Поэт собирается созывать народы пить сычёную брагу, но надо полагать, что, пользуясь красногривым жеребенком, ни морей не переплывешь, ни по суше далеко не уедешь. Застоем, Китаем, дряхлым Востоком, сонной, „дремотной“ Азией отдаёт от „Инонии“ Есенина; недаром поэт только вспоминает про родимые поля, предпочитая асфальт городских улиц и электрическое освещение родной лучинушке.

В процессе ломки старого уклада и особенно революции — миллионы наших крестьян давным-давно уже поняли пользу железного гостя; на очереди теперь стоит вопрос не о том, чтобы убеждать крестьянина в полезности трактора и чугунок, а о том, чтобы трактор и чугунок ему дать. В этом вся заковыка дней наших.

Повторяем, в своих ожиданиях мужицкой „Инонии“, без машин и приводных ремней, Есенин должен был обмануться. Поэтому акафисты в честь „Инонии“ переходят у него в проклятия по адресу городской культуры, при чем поэт ясно чувствует, что „мир таинственный“, „древний“, деревенский гибнет безвозвратно. Он называет себя последним поэтом деревни; он уже слышит победный рожок железного врага и знает, что его, поэта, ждет черная гибель.

Он выступает здесь как реакционный романтик, он тянет читателя вспять к сычёной браге, к деревянным петушкам и конькам, к расшитым полотенцам и Домострою. Нужды нет, что оправлено все это в прекрасную, сильную художественную форму.

III

Как совмещает в себе поэт такие настроения с признанием русского Октября, с борьбой пролетариата, с настоящей, а не выдуманной революцией?

Есенин прежде всего аполитичен. Свою ненависть к железному гостю поэт приурочивает не столько к действительному ходу революции, сколько вообще к веку пара и электричества. Кроме того, как сын деревни, черноземья, он не может не чув-

ствовать, что именно большевистская революция скачала с шеи крестьянина помещика и царскую нежить и сделала его хозяином той самой Земли, к которой он рвался издавна и упорно. Что бывшая нежить Есенину крепко не по душе, ясно не только из его юношеских поэм, но и из „Пугачева“.

Главное, однако, не в этом. Есенин — поэт не цельного художественного мироздания. Он — двойственен, расколот, дисгармоничен, подвержен глубоко различным настроениям, часто совсем противоположным. Прочного, твердого ядра у него нет. Хулиганство у поэта сопрягается со смиренностью, с беззлобностью, тоска по родному краю — с тягой к городу, религиозность — с тем, что называют святотатством, тонкий, чарующий, интимный лиризм — с подчеркнутой грубостью образов, животность — с мистикой. „Человеческая душа, — пишет Есенин, — слишком сложна для того, чтобы заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты“. Прославляя свою „Инонию“ и предавая поэтической анафеме железного гостя, Есенин сознает, что без этого гостя не обойдешься, а в любимом краю и в стозвонных зеленях — Азия, нищета, грязь, покой косности и что это... страна негодаев. Так им и названа одна из последних поэм. В ней Чекнов в диалоге со шу-

плым и мирным обывателем при явном авторском сочувствии говорит, между прочим:

Я ругаюсь
И буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие,
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.

Это „хулиганство“, но крепко сказано и целиком противоречит анафемствованиям по адресу каменных шоссе и железных дорог: в самом деле, вместо уборных — древний есенинский мир усиленно возводил храмы божие.

Поэт хорошо также знает и сознает убогость, косность, неподвижность, ограниченность кругозора крестьянского мира, нестойкость, неспособность постоять до конца, сообща, за общие интересы. В „Пугачеве“ сторож, крестьянин-казак, говорит:

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава накорячках,

Под себя коренья подобрал.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов кссы,
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы.
Что нам первый ряд подкошенной травы!
Только лишь бы до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.

Через это — „только до нас не добрались бы“ — терпит поражение Пугачев, и его злодейски предают его друзья и соратники.

Дисгармоничность, раздвоенность, противоречивость поэтических мыслей и чувств Есенина согласуется, однако, с двойственной душой нашего крестьянина. Крестьянство — класс-амфибия: оно колеблется между реакцией и революцией, между пролетариатом и буржуазией. Оно может злобно и ожесточенно бороться, но оно поднимается стихийно, неорганизованно, оно не знает, где верный и прочный его союзник. Оно распылено. Борьба деревни, предоставленной самой себе, поэтому не доводится до конца и бессильно вырождается в бунты, в махновщину, в непротивленство, в неверие. И мирозерцание нашего крестьянина двойственно, спу-

тано, непостоянно, изменчиво, не согласовано в элементах своих, маятникообразно, лишено цельности. Не раз и не два селянство российское, армяжная, аржаная рать поднималась в защиту прав своих, но победило оно только однажды — под руководством рабочего класса. И только в меру приобщения его к пролетарскому руслу революции крестьянство получает организованность, цельность миросозерцания и не распадается в анархии бунтов.

Есенин — чрезвычайно одаренный поэт, такой, каких у нас в России можно счесть по пальцам одной руки. Но этот поэт творит сплошь и рядом вещи прямо вредные. Это оттого, что он ни в какой мере не желает поработать в поте лица своего над сведением концов своего разорванного мироощущения. Об этом он несколько не заботится. Наоборот, поэт сознательно как будто подчеркивает свою дисгармоничность, противоречивость возводит в принцип, культивирует, нарочно оттеняет, старательно показывает. Получается поза, что-то наигранное, кокетство, какое-то переодевание на глазах у читателя. Недаром Есенин говорит о преследовании им „авантюристических целей в сюжете“. Но читатель должен поверить писателю. А когда художник легко, без особых усилий, без внутренней жестокой борьбы, без мучений, без работы над

собой, без попытки преодолеть — переходит от одного настроения и системы чувств к другим, противоположным, и все это укладывается в одном поэтическом ящике свободно, бок-о-бок, — здесь кроется большая опасность для художника. Есть поэты и художники цельные, монолитные: такими были Пушкин, Гёте. Есть писатели, черпавшие свою силу в дисгармоничности, в расколотости, — таков, например, Достоевский. Но Достоевский, терзая читателя, терзался сам, а не играл провалами, искривлениями, противоречиями человеческой психики. Другие, как Ибсен, с железным упорством искали выхода из психологических тупиков в высшем синтезе. Ничего подобного у Есенина нет. У него нет ни коллизии, ни столкновения поэтических чувств, ни попыток преодоления этого столкновения, а только нарочитое подчеркивание противоположностей, намеренное их заострение. Получается, действительно, своеобразный поэтический авантюризм.

И поэт напрасно скрывается за мыслями о сложности души, которую нельзя втиснуть в один определенный круг. Речь идет не о сложности, а о поэтическом авантюризме, о своеобразной рисовке, а они у поэта есть. Нельзя сказать, что поэтические настроения Есенина не соответствуют подлинным чувствам и душевному его строю, но у поэта

нет желания синтезировать их. Наоборот, он играет на несогласованности. А это очень опасно.

IV

Особо следует остановиться на опозитизировании хулиганства. Вопрос этот приобретает сейчас особо острый характер. О своем хулиганстве поэт говорит давно, не переставая, с юношеских лет. Эта тема наиболее постоянная для Есенина.

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я — разбойник и хам
И по крови — степной конокрад.

При оценке и распознавании хулиганства Есенина следует вспомнить прежде всего его драму „Пугачев“. Пугачев мечтает о торжестве мирного крестьянского труда. Так как путь к этому благополучию прегражден дворянами и чиновниками, и мужик страдает от их „цепких лапщ“, Пугачев поднимает знамя бунта. Он пользуется именем Петра, чтобы созвать „злую и дикую ораву“ бродяг и отщепенцев для погрома, для кровавой мести, чтобы „вытащить из сапогов ножи и всадить их в барские лопатки“. Пугачев приближен к нашей эпохе; он говорит и думает, как имажинист, он очень похож на поэта.

Марксизм давно уже дал надлежащую оценку нашей исторической пугачевщине, и напоминать ее здесь не имеет смысла. Но, конечно, теперешнее хулиганство Есенина имеет с подлинной пугачевщиной весьма отдаленное сходство. Волею исторических судеб потомок Пугачева уже не гуляет с кистенем, не собирает под осенний свист молодцов-удальцов. Он — в цилиндре, в смокинге, в перчатках и не скрывается в дремучих заповедных лесах, а ходит по асфальту городских улиц. Он знает, что от этого асфальта ему никуда не уйти. В городе — величайшая социальная борьба, но городская культура обратилась для дальнего потомка Пугачева не этой своей стороной, а своей ресторанной хмарью, рисовой пудрой. От заповедных лесов правнук ушел, но к тому городу, за которым будущее, не пристал. Как-то казалось ему, что развернувшаяся борьба со злым врагом открывает вновь истлевшие страницы мужицкой повольщины, пугачевщины, обещает мужицкую „Инонию“ без железного гостя. Когда поэт увидел, что ошибся, он отдался ресторанному хулиганству и в чадугу его открыл, что Москва — кабацкая. „Москва кабацкая“ — это жуткие, кошмарные, пьяные, кабацкие стихи:

Да, теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.

Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.
Низкий дом без меня ссутулится.
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
А когда ночью светит месяц,
Когда светит... чорт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
Сердце бьется все чаще и чаще,
И уж я говорю невопад:
— Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не вернуться назад.
Низкий дом без меня ссугулится.
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах,
Знать, судил помереть мне бог.

И дальше в других стихах — о скуке, которую нужно разогнать, о женщинах, измызганных другими, о ведрах спирта, об угаре, в котором позабыть бы все, о гармонисте с провалившимся носом, который

„поет про Волгу и про Че-Ка“, о вине, заливающим глаза, о хулиганстве и бесшабашности. Местами стихи создают иллюзию пьяной несвязности, пьяного бреда, неожиданных переходов настроений, полубезумья, провалов сознания. Настоящая Москва кабацкая!

В истории русской поэзии впервые появляются стихи, в которых с отменной изобразительностью, реализмом, художественной правдивостью и искренностью кабацкий угар возводится „в перл создания“, в апофеоз. И что хуже всего: в эти висельные, конченные, безнадежные стихи поэт вдохнул подлинный лиризм, сообщил им крепость, нашел в себе для выражения кабацкого чада неподдельный пафос. Это хуже всего потому, что в „Москве кабацкой“ отразился „дух времени“, и уж, разумеется, нет никакой случайности в том, что один из лучших по одаренности современных поэтов опустился до страшных, пропащих стихов.

Не в том дело, что у нас среди писателей и художников по наследству жива купринская „Вена“, что нэп своими ресторанами и кабаками разлагающим образом действует на многих из них, — суть вопроса, к сожалению, гораздо глубже. Настроения, нашевшие свои выражения в „Москве кабацкой“, продиктованы, в первую очередь, потерей веры в нашу революцию, в ее смысл, в ее победу, в ее

творческое животворящее преобразующее начало, в ее дальнейший размах. Пока революция давала возможность уподоблять себя метелям, пока не было заминок, остановок, задержек, будней революции, — поэтам, даже есенинского склада, легко было так или иначе прославлять ее. Не понимая ее реального хода, они тем сильнее мечтали о преобразованиях, вознесениях, о космической революции, создавая фантазмы, миражи, сказки. Когда обнаружилось, что революция — дело трудное, кровавое, затяжное, что она имеет свои будни, что бывают длительные паузы, серьезные поражения и отступления, что она требует деловой черновой работы, а не отвлеченного энтузиазма, горения, мечтательности и т. п., — стали обнаруживаться колебания, сомнения, появились упадочные настроения, разочарования, прямой декаданс. Естественно, что раньше других дрогнули те, кто плавал в заоблачной выси и туманах. Отвлеченная мечтательность начала мстить жестоко и беспощадно. Результат — такие литературные явления, как „Москва кабацкая“, где потребность чудес, преобразений, несбывшихся надежд подменяется пьяным угаром, а склонность к протесту, к борьбе вырождается в пьяные скандалы.

В стихах Есенина о кабацкой Москве размагниченность, духовная прострация, глубокая антиобщес-

ственность, бытовая и личная расшибленность, распад личности — выступают совершенно отчетливо. В стихах говорится, что поэт неудачно хотел повенчать розу с черной жабой; „что-то всеми навеки утрачено“; он вспоминает „дурашливых, юных, что сгубили свою жизнь сгоряча“; он говорит о помыслах розовых дней, которые не сбылись и не сладились, о том, как он заливает глаза вином, „чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать на миг о другом“. В эти мотивы вплетена тоска по тополям, по деревенскому детству, по родительскому дому. Мудрено ли, что все это кончается в милицейских участках горячкой, рядом бесчинств и скандалов.

Вопрос о Москве кабацкой — серьезный вопрос. Элементы общественного и литературного декаданса на фронте будней революции налицо. И в этом — опасность стихов Есенина. Настроения эти просачиваются в среду пролетарских писателей, в среду коммунистов, молодежи нашей; самогонка льется сейчас широкой рекой по всей России. В противовес этому нужно поднять знамя за бодрость, за окрыленность, за твердую поступь, за поддержку и воспитание революционного пафоса, за то, что революция жива, за революционную общественность, объявив беспощадную борьбу литературному и нелитературному, кабацкому и иному ху-

лиганству — этим несомненным факторам маразма и гниения.



Поэтический путь Есенина, замкнутый пока стихами о Москве кабацкой, очень показателен. Он показывает, что в наше время мужицкая „Инония“, пугачевщина и буслаевщина, в той или иной форме, давным-давно потеряли свое положительное значение, выродились, кончились. Когда-то, в эпоху крепостничества, царизма мужицкий рай и буслаевская удаль вдохновляли и толкали на борьбу, на подвиг. Дни эти безвозвратно ушли в прошлое благодаря диктатуре пролетариата. Поэту, который хочет идти плечом к плечу с эпохой и быть рупором ее, как воздух и вода, нужна другая „Инония“ — ленинская. Только она спасает от духовного вырождения. Мужицкая „Инония“ привела одного из крупнейших поэтов к кабаку, к отчаянию, к ресторанному хулиганству. В этом нет ничего случайного, наоборот, в этом — символ, знамение времени, тут есть своя беспощадная логика.

Предсказывать и гадать о будущих путях поэта — занятие сомнительное. Есенин уверяет в последних стихах, что он прощается с хулиганством, но что-то долго прощается: закрадывается законное сомнение, что о прощании говорится единственно из „авантю-

ристических целей сюжета". А ведь у Есенина есть любовь к крестьянину, к „животности“, к зорям, есть мужество и крепость стиха.

V

В заключение — об имажинизме, творцом которого является Есенин вместе с Мариенгофом и Шершеневичем и от которого он сейчас, кажется, отошел.

Уже отмечалось выше, что особенность и своеобразие поэтического дара Есенина заключаются в способности овеществления образа. Его образы материализованы, они всегда осязаемы, они лишены всякой „духовности“, отвлеченности; они пахнут; их хочется взять руками; они отвердевают, кристаллизуются на глазах читателя. У него „синь сосет глаза“, „все резче звон прилипает на копытах, то тонет в воздухе, то виснет на ракетах“; „заметалась звенящая жуть“, „словно ведра, наши будни он наполнит молоком“; старушка-мать „пальцами луч заката старается она поймать“; „каплями незримой свечи капает песня с гор“; „вечер морозный, как волк, темно-бур“. Даже отвлеченные понятия поэт стремится овеществить: „время — мельница с крылом“,

„месть щенками кровавыми щенится“, „по черни ныряет весть, как по гребням лодка с низким парусом“, „золото увядания“, „золотая словесная гряда“, „прокляю клювом моих стихов“, „все мы яблоко радости носим“ и т. д.

Отсюда статичность Есенина. Образы его лишены динамики. Они оттуда, от полей и хат, где время, действительно, словно мельница с крылом, где — тишина, покой и неподвижность.

Образ Есенина — орнамент. Об этом мы уже писали. Несомненно, поэт хочет возвратить поэзию к образности Гомера, библии, Баяна, нашего народного эпоса. Само по себе это стремление в известной мере законно и отчасти может быть оправдано. Период импрессионизма, декаданса, символизма, упадочной индивидуалистической изощренности или описательного безыдейного натурализма должен пойти на смарку. С другой стороны, русская революция открыла широчайшую возможность органического слияния нашего культурного искусства, обслуживавшего привилегированные классы, с народным искусством, с эпосом, с частушкой. Не случайно, конечно, Демьян Бедный широко пользуется русской былинной, басней, песней, и недаром в художественной прозе наших дней есть несомненное тяготение к сказу, правда, чаще всего к модернизированному.

Стремление освежить, подкрепить себя народным творчеством, в противовес эпохе декаданса, по существу — здоровое стремление.

Нужно, однако, знать меру. Гомер и Баян жили в совершенно другой обстановке. Ведь даже нашу деревню, по признанию самого Есенина, трясет „стальная лихорадка“. Для образного выражения и обна-ружения наших ощущений, темпа, характера нашей жизни сплошь и рядом больше подходит полет аэроплана, чем полет птицы, по той простой причине, что это более соответствует творческому, актуальному началу, чем пассивный образ птицы, которой мы не создавали и которая дана природой. Прекрасен образ Гомера, когда он уподобляет слово птице, вылетающей из ограда зубов, но современный Гомер, будь он налицо, наверное, нашел бы иное уподобление „машинного“ характера. Если в изображении деревни, природы можно пользоваться образностью „Баяна вещего“, то для изображения Лондона и Нью-Йорка нужны иные образы. Образы Баяна — статичны, внешни, они часто не передают внутреннего смысла понятия. Не нужно забывать, что Гомер и Баян обращались к читателю с исключительной силой конкретного мышления и чувствования. Наши мысли, наши ощущения даже стали несравненно более отвлеченными. Нам часто не нужно той на-

глядности, той осязаемости, которые требуются для примитивного и конкретного мышления; помимо того, более абстрактный дух нашей эпохи требует иных поэтических средств. Стороннику теории относительности Эйнштейна потребуются совершенно иные поэтические средства, чем певцу неподвижного древнего мира Гомера и Баяна. Разумеется, в образе вся сила поэта. Здесь он пробует свои способности и обнаруживает их. Но это еще не означает, что образ нужно непременно свести к орнаменту или к метафоре. В известном стихотворении Гёте — „Горные вершины спят во тьме ночной“ — в описании природы нет ни одной метафоры, между тем, это — гениальное поэтическое произведение: ни одного лишнего слова; состояние тишины, покоя передано каждым словом и совершенно неподражаемо; все целостно, ничто не отвлекает внимания в сторону, все просто, строго, органично. Между тем, погоня за метафорой, неумеренное пользование ею часто приводят к тому, что картина, долженствующая быть цельной и гармоничной, разывается на ряд отдельных звеньев, — внимание сосредоточивается на частном, на многочисленных уподоблениях: как в малявинском хороводе глаз режет яркость и пестрота цветов, начинает рябить. Если проанализировать с этой точки зрения, например, „Преображение“ Есенина,

то этот недостаток цельности и гармоничности делается очевидным.

О, веруй, небо вспенится,
Как лай, сверкнет волна,
Над рощей оценится
Златым щенком луна.
Иной травой и чашею
Отенит мир вода,
Малиновкой журчащею
Слетит в кусты звезда... и т. д.

Составьте из этих метафор общую картину — получается совершенно несуразно: в небе, вспенившемся волной, как лай, рождается щенком месяц, а на кусты слетает малиновкой звезда; ни лай, ни щенок — возбуждающие однородные ассоциации — не спасают картину от общей ее дисгармоничности.

Отсюда один шаг до погони за образом, как за самоцелью. Все дело сводится к тому, чтобы запечатлеть, остро вбить в голову читателю сумму образов, что, в свою очередь, легко превращается в нарочитую изощренность, а от нее рукой подать до прямой извращенности и противоестественности. Таким путем, вместо возвращения к естественному народному творчеству, к орнаменту, получается нечто совсем противоположное. Мариенгофу очень нравится у Есенина „нарочитое соитие в образе чистого и

нечистого": у Есенина „солнце стынет, как лужа, которую напрудил мерин“, или „над рощами, как корова, хвост задрала зря“; „одна из целей поэта— вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения, как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа“ (Мариенгоф. „Буян-остров“). Все дело, однако, в том, что „нарочитое соитие“ этой цели в конце концов не достигает. Правда, нарочитое соитие может „всадить“ образ в читателя, но только своей нарочитостью, а не гармоничностью, не своим внутренним соответствием тому, что хочет воплотить художник, в чем заключается единственная задача его. Образ Есенина, уподобляющего калмыцкие кибитки в „Пугачеве“ деревянным черепахам, прекрасен, ибо соответствует их медленному ходу, их внешнему крытому виду, а образ зари, задравшей хвост, как корова, — безобразен и безобразен в итоге. Поскольку Есенин одно время усиленно занимался подобным нарочитым соитием и всаживанием образов, он делал крупнейшую поэтическую ошибку; он занимался хулиганством, и в области построения образа он шел не к народному эпосу, не к Гомеру и Баяну, а попадал в наезженную колею литературщины, манерности, декаданса. Он терял себя и обращался со своим даром, как лихой расточитель. Непосредственность, кре-

пость своего деревенского поэтического таланта он отдавал на служение интересам литературных стойл и групп.

Все это осложнялось еще тем, что в образ-орнамент Есенин хотел вселить смысл „миров иных“. В стадии имажинизма образ мыслился поэтом как способ раскрытия некоей мистической тайны мироздания, как средство проникновения от земного „к сдвигу космоса“, как форма прорыва через реализм в мистическую сущность жизни и вселенной. В этом и заключалась суть имажинизма. Он соответствовал его „Инонии“, его пониманию революции в духе преображения ее в особой материи. Получалась совсем вредная труха, тем более досадная, что в основах своего творчества Есенин, несомненно, реалист.

★

Повторяем, дар Есенина — мир конкретных деревенских образов. Его сила — в способности овеществления их до осязаемости. У него есть формальные возможности внести в нашу поэзию простоту, крепость, сочность от народного искусства, от эпоса, песен и т. д. Он — один из самых тонких, нежных лириков современности, но „нарочитое соитие“ тянет писателя в сторону от этих прямых задач, а внутренний распад поэтической личности, элементы

идейного разложения грозят ему гибелью. У Есенина есть немало поэтических последователей, подражателей. Достаточно сказать, что проза Всева Иванова очень сродни „неизреченной животности“ и образности Есенина. Есенина хорошо читают. Неужели он действительно войдет в нашу великую эпоху главным образом как автор „Москвы кабацкой“? Пока он „распространяет вокруг себя пространство“ главным образом именно в этом направлении.

★

После „Москвы кабацкой“ Есенин написал новые циклы стихов. Они уже вышли отдельными изданиями и, несомненно, содействовали популярности поэта. Такие стихотворения, как „Письмо матери“, „Памяти Ширяевца“, „Годы молодые“, „На родине“, „Русь советская“, „Персидские мотивы“ — получили широкое распространение и заучиваются наизусть.

Они, в самом деле, покоряют. В них, может быть, нет полной отшлифовки, попадаются невыношенные, невыверенные строки, но все это искупается заразной душевностью, глубоким и мягким лиризмом и простотой. Вместе с тем, в них есть эмоциональная напряженность и подъем, нет вялости, нет поэтических будней, что наиболее опасно для художника. Слово звучит, как туго натянутая струна, не

громко, но высоко и чисто. В образ всегда вложено большое чувство. И даже тогда, когда поэт жалуется: „я усталым таким еще не был“, „я устал себя мучить без цели“, — в этом нет душевной прострации и развинченности, потому что поэт тут же чрез несколько строк бодро шлет привет „воробьям и воронам и рыдающей в ночь сове“. В этом соединении мягкой грусти, тоски, задумчивости с напряжением, пожалуй, главная сила последних стихов Есенина. В них нет буя, грохота, провалов и взлетов революционной эпохи, но они, думается, приходятя впору нашей литературной полосе. Грохот и бой, лозунги и воззвания давно уже требуют в поэзии существенных коррективов. Наше время нуждается не только в лозунгах и в плакатах, но и в углубленном изучающем взгляде на окружающее, на недавнее прошлое и настоящее. С этой точки зрения понятно и увлечение Есениным и то, что к нему усиленно тянется наша молодежь, по крайней мере, часть ее. Стихи Есенина — сплошная настроенность. Слово, рифма — подчинены, покорены чувством. Их часто даже не замечаешь. Есенин приучает нашу современную поэзию к искренности, он зовет к художественному самоопределению. Нельзя же сейчас пробавляться изо дня в день повторениями: барабан бей, знамя рдеет, молот кует, горн пы-

лает и т. д. Все это уже было, усвоено, примелькалось, — пора двигаться дальше. Есенинские стихи отучают также от вывертов, от беспутного и бесцельного жонглирования словом, образом, от выворачивания поэтической шубы наизнанку, от хождения колесом и от прочих циркаческих упражнений на потеху и вящее изумление ошарашенной и оглаушенной публики, боящейся, „как бы не отстать от века“. В этом смысле его стихи играют положительную роль. Неплохо и то, что Есенин зовет нас к Пушкину, находясь под его могучим обаянием и воздействием, ибо в сотни раз лучше подражать и учиться у Пушкина, чем у поэтов декадентского распада...

Не мешают даже известная однотонность и однообразие настроения: поэт умело варьирует свои основные, любимые темы.

Самое важное, однако, не в этом. Стихи Есенина последнего периода, несомненно, свидетельствуют о повороте в его поэтическом творчестве. Трудно сказать, насколько серьезен, прочен и длителен этот поворот, но пока он налицо.

„Москва кабацкая“ осталась в этих стихах, как отдаленный, замирающий отголосок. Если раньше Есенин в кабацком пропаде и угаре старался „не видеть в лицо роковое“ и „подумать хоть миг о дру-

гом“, бравировал и пытался опоэтизировать кабацкое лихо, то позже он все чаще и упорней подчеркивал пустоту, бессцельность и бессмысленность этого лиха. „Забубенная слава“ ничего не принесла, кроме горькой отравы; поэтому уже мерещится конец, и больничная койка не ждет его, а приковала к себе „с забинтованной рукой“.

А жизнь не стоит на одном месте, она неугомонна, она постоянно меняет свой лик. Родные поля, „голубые далекие дали“, „золото осень“ — их уже трудно узнать:

Ах, милый край! Не тот ты стал, не тот.

Да уж и я, конечно, стал не прежний...

В своей родной деревне поэт чувствует себя совсем чужим, угрюмым пилигримом: „Язык сограждан стал мне, как чужой, в своей стране я словно иностранец“. Чужим стал не только язык, но и весь новый деревенский уклад. Сестра „читает пузатый Капитал“, с церкви сняли крест, красноармеец рассказывает о Перекопе и Буденном, крестьянский комсомол поет агитки Бедного Демьяна. Поэт чувствует свою осиротелость и неприкаянность.

Вот так страна!

Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Художник благословляет новую жизнь, но сам стоит в стороне, он собирается итти к „неведомым пределам“, „душой бунтующей навеки присмирив“.

В одном, основном, Есенин остался верным себе, своим первоначальным мотивам: он попрежнему грустит о прошедшей молодости, об увядании, о том, что жизнь идет и развивается по-своему, не считаясь с поэтом. Прибавилось только более конкретное ощущение, что революционная ломка, революционная борьба создали вместо старой Руси — Русь новую, советскую, так что даже родная тихая, застойная деревня стала иной и непохожей на прежнюю. Поэт видит правду этой жизни, ее прорастание и цветение, он отступает пред ней с поклоном и приветом, оставляя для себя „лиру“, дабы воспеть „Русь“.

Но Руси вообще, Руси отвлеченной в природе не существует. Есть обломки прежней Руси и есть Русь советская. Итти к „неведомым пределам“ — занятие довольно неопределенное, а наше время требует четкой ясности. Есенин сказал *а*, а за *а* следует *б*. Поэт поклонился советской Руси. Но она поднимается совсем на других дрожжах, чем старая. Есенин еще грустит о прежней Руси церковных малиновых звонов, патриархальной неподвижности, о Руси икон и

богомол, но уже ищет путей к теперешней, современной Руси.

А для этого необходимо пересмотреть и переоценить кое-что в прежнем поэтическом инвентаре. Художник и старается это сделать. Деревня прошлых времен пугливо косилась на железного гостя. Она жалела о той поре, „когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенег“; она испуганно металась пред городом, пред каменными руками шоссе. Русь советская будет жива железным гостем, паровозами, электричеством, заводом, нефтью.

Печенежки повадки уже не встречают сочувствия поэта. Наоборот, в персидских стихах он с гордостью напоминает своему восточному хозяину:

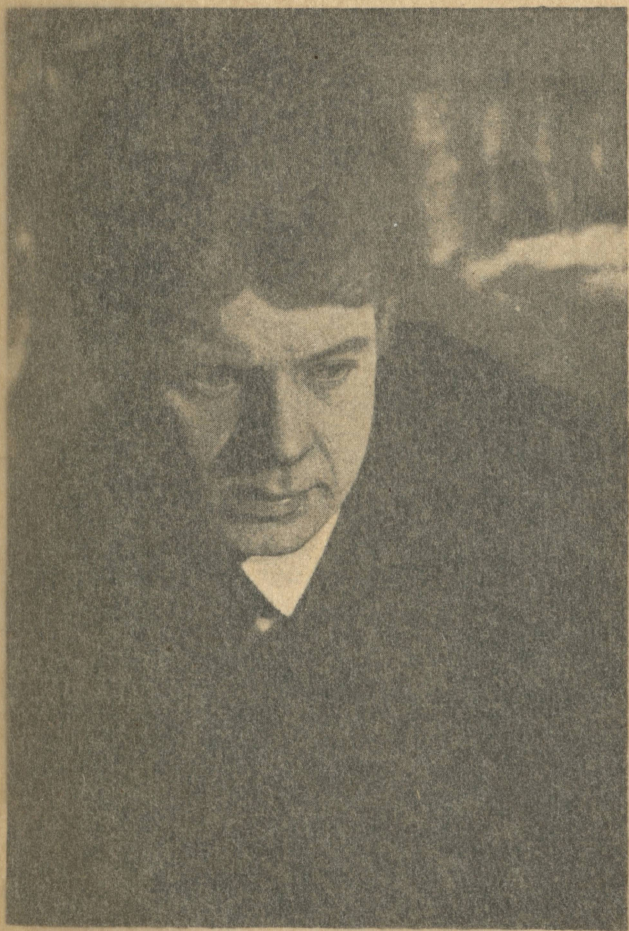
Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Сдвиг в творчестве Есенина очень ощутителен. Есенин — большой поэт. Его любят и ценят в советской Руси. Большой художник не может долго стоять в стороне от больших дорог, по которым упрямо шагает история. То, что пишет теперь поэт, позволяет надеяться, что он выбрался из „Москвы кабацкой“ на эту большую дорогу. Правда, кое-какие серьезные сомнения все-таки остаются. Такие вещи

как „Стансы“, показывают, что в есенинском сдвиге пока есть еще много внешнего и меньше органического. „Стансы“ плохи и неубедительны. Многие (не все) из его кавказских стихов посредственны и для Есенина совсем слабы. Грузинский климат для него, очевидно, был отнюдь не из благотворных. О Марксе и Ленине Есенину, пожалуй, писать рано, а внимательно ими заняться, не для красного словца, а для переработки некоторых сторон своего творчества — очень своевременно и кстати. Худо будет, если новая полоса в творчестве поэта окажется только вольной или невольной случайностью, данью времени и ветреным увлечением повесы. Наше время в шутки играть не любит и не прощает игры с собой. Ни для кого также не секрет, что у нас в разных областях жизни развелось немало пенкоснимателей. Это не в упрек и не в обиду Есенину, а в дружеское и искреннее предупреждение, единственно для того, чтобы он давал хорошие, отсортированные стихи, спаянные с современностью. Кому многое дано, с того многое и взыщется.

Есенину дано многое.

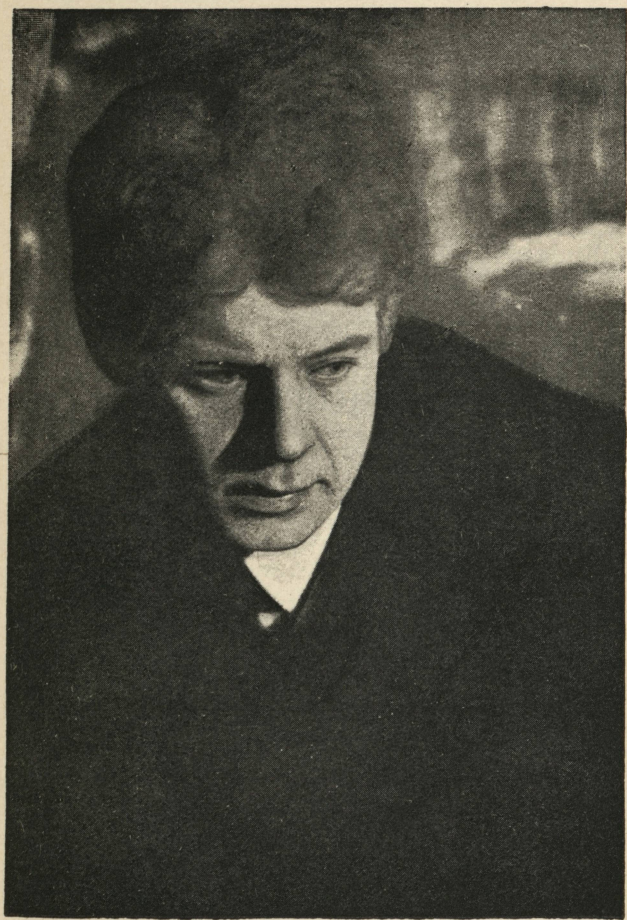
А. Воронский



как „Стансы“, показывают, что в есенинском сдвиге пока есть еще много внешнего и меньше органического. „Стансы“ плохи и неубедительны. Многие (не все) из его кавказских стихов посредственны и для Есенина совсем слабы. Грузинский климат для него, очевидно, был отнюдь не из благотворных. О Марксе и Ленине Есенину, пожалуй, писать рано, а внимательно ими заняться, не для красного словца, а для переработки некоторых сторон своего творчества — очень своевременно и кстати. Худо будет, если новая полоса в творчестве поэта окажется только вольной или невольной случайностью, данью времени и ветреным увлечением новесы. Наше время в шутки играть не любит и не прощает игры с собой. Ни для кого также не секрет, что у нас в разных областях жизни развелось немало пенкоснимателей. Это не в упрек и не в обиду Есенину, а в дружеское и искреннее предупреждение, единственно для того, чтобы он давал хорошие, отсортированные стихи, спаянные с современностью. Кому многое дано, с того многое и взыщется.

Есенину дано многое.

А. Воронский



СТИХОТВОРЕНИЯ

МАРФА ПОСАДНИЦА

1

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула,—
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула.

Раскололся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорние;
Услыхали ангелы голос человечесий,
Отворили наскоро окна-ставни горние.

Возговорит Марфа голосом серебряно:
— Ой-ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!
Грамотой московскою извольню повелено
Выгомонить вольницы бражные загулы!

Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпячили грозно:
— Что нам Московия,—как поставник блинный!
Там бояр-те жены хлыстают загозно!

Марфа на крылечко праву ножку кинула,
Левой помахала каблучком сафьяновым:
— Быть так,—кротко молвила, черны брови
сдвинула —
Не ручьи-брызгатели выцветням росяновым...

2

Не чернец беседует с господом в затворе —
Царь московский Антихриста вызывает:
— Ой, Виельзевуле, горе мое, горе,
Новгород мне вольный ног не лобызает!

Вылез из запечья сатана гадюкой,
В пучеглазых бельмах исчаведье ада:
— Побожися душу выдать мне порукой,
Иначе не будет с Новгородом слада!

Вынул он бумаги — облака клок,
Дал ему перо — от молнии стрелу.
Чиркнул царь кинжалищем локоток,
Расчеркнулся и зажал руку в полу.

Зарычит Антихрист земным гудом!

— А и сроку тебе, царь, даю четыреста лет!

Как пойдет на Москву заморский Иуда,

Тут тебе с Новгородом и сладу нет!

— А откуль гроза, когда ветер шумит? —

Задаст ему царь хитрой спрос.

Говорит сатана зыком черных згит:

— Этот ответ с собой ветер унес...

3

На соборах Кремля колокола заплакали,

Собирались стрельцы из дальних слобод;

Кони ржали, сабли звякали,

Глас приказный чинно слушал народ.

Закраснели хоругви, образа засверкали,

Царь пожаловал бочку с вином.

Бабы подолами слезы утирали, —

Кто-то воротится невредим в дом?

Пошли стрельцы, запылили по полю:

— Берегись ты теперь, гордый Новоград!

Пики тенькали, кони топали, —

Никто не пожалел и не обернулся назад.

5

Возговорит царь жене своей:

— А и будет пир на красной бrage!
Послал я сватать неучтивых семей,
Всем подушки голов расстелю в овраге.

— Государь ты мой, — шомонит жена, —
Моему ль уму судить суд тебе!..
Тебе власть дана, тебе воля дана,
Ты челом лишь бьешь одной судьбе...

4

В зарукавнике Марфа богу молилась,
Рукавом горючи слезы утирала;
За окошко она наклонилась,
Голубей к себе на колени сзывала.

— Уж вы, голуби, слуги боговы,
Солетайте-ко в райский терем,
Вертайтесь в земное логово,
Стучитесь к новоградским дверям!

Приносили голуби от Бога письмо,
Золотыми письменами рубленное;
Села Марфа за расшитою тесьмой:
— Уж ты, счастье ль мое загубленное!

И писал Господь своей верной рабе:
— Не гони метлой тучу вихристу;
Как московский царь на кровавой гульбе
Продад душу свою Антихристу“...

5

А и минуло теперь четыреста лет.
Не пора ли нам, ребята, взяться за ум,
Исполнить святой Марфин завет:
Заглушить удалью московский шум?

А пойдете, бойцы, ловить кречетов,
Отошлем дикомытя с потребою царю:
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
Чтоб не застил он Новоградскую зарю.

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
Ой, ты, Новгород, родимый наш!

Как по быльнице тропинка пролегла:
А пойдете стольный Киев звать!
Ой-ли вы, с Кремля колокола,
А пора, небось, и честь вам знать!

Пропоем мы Богу с ветрами тропарь,
Вспеним белую попончу.
Загудит наш с веча колокол, как встарь,
Тут я, ребята, и покончу.

Сентябрь, 1914.

МИКОЛА

1

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сел и деревень.

На плечах его котомка,
Стягловица в две тесьмы;
Он идет, поет негромко
Иорданские псалмы.

Злые скорби, злое горе
Даль холодная впила;
Загораются, как зори,
В синем небе купола.

Наклонивши лик свой кроткий,
Дремлет ряд плакучих ив,
И как шелковые чотки —
Веток бисерный извив.

Ходит ласковый угодник,
Пот елейный льет с лица:
— Ой, ты, лес мой, хороводник,
Прибаюкай пришлеца.

2

Заневестилася крѣгом
Роща елей и берез.
По кустам зеленым лугом
Льнут охлопья синих рос.

Тучка тенью расколола
Зеленистый косогор...
Умывается Микола
Белой пеной из озер.

Под березкою-невестой,
За сухим посошником,
Утирается берестой,
Словно мягким рушником.

И идет стопой неспешной
По селеньям, пустырям:
— Я, жилец страны нездешной,
Прохожу к монастырям.

Высоко стоит злотравье,
Спорынья кадит туман:
— Помолюсь, схожу, за здравье
Православных христиан.

3

Ходит странник по дорогам,
Где зовут его в беде,
И с земли гуторит с Богом
В белой туче-бороде.

Говорит Господь с престола,
Приоткрыв окно за рай:
— О, мой верный раб Микола,
Обойди ты русский край.

Защити там в черных бедах
Скорбью вытерзанный люд.
Помолись с ним о победах
И за нищий их уют.

Ходит странник по трактирам,
Говорит, завидя сход:
— Я пришел к вам, братья, с миром —
Исцелить печаль забот.

Ваши души к подорожью
Тянет с посохом сума.
Собирайте милость Божью
Спелой рожью в закрома.

4

Горек запах черной гари,
Осень рощи подожгла.
Собирает странник тварей,
Кормит просом с подола.

— Ой, прощайте, белые птахи,
Прячьтесь, звери, в терему.
— Темный бор, — щекочут свахи, —
Сватай девицу-зиму.

— Всем есть место, всем есть логов,
Открывай, земля, им грудь!
Я — слуга давнишний богов —
В божий терем правлю путь.

Звонкий мрамор белых лестниц
Протянулся в райский сад;
Словно космища кудесниц,
Звезды в яблонях висят.

На престоле светит зорче
В алых ризах кроткий Спас:
— Миколае чудотворче,
Помолись ему за нас.

5

Кроют зори райский терем,
У окошка Божья Мать
Голубей сзывает к дверям
Рожь зернистую клевать.

— Клюйте, ангельские птицы;
Колос — жизненный полет.
Ароматней медуницы
Пахнет жней веселых пот.

Кружевами лес украшен,
Ели, словно купина.
По лощинам черных пашен —
Пряжа выснежного льна.

Засучивши с рожью полы,
Пахаря трясут лузгу,
В честь угодника Миколы
Сеют рожью на снегу.

И как по траве окосья
В вечереющий покос,
На снегу звенят колосья
Под косницами берез.

1913

РУСЬ

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие зимние
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь,—езде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглистые
На березках висят галуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой, ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам итти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собирались мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой, —
Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним неожиданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собрались над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой, ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

УС

Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном
Расставалась мать с верным сыном.

— Ты прощай, мой сын, прощай, чадо,
Знать, пришла пора, ехать надо!
Захирел наш дол по-над Доном,
Под пятой Москвы, под полоном.

То не водный звон за путиной —
Бьет копытом конь под осиной.
Под красневу дремь, под сугредок,
Отвечал ей сын напоследок:

— Ты не стой, не плачь на дорогу,
Зажигай свечу, молись Богу.
Соберу я Дон, вскручу вихор,
Полоню царя, сниму лихо.

Не река в бугор била пеной, —
Вынимал он нож с подколена,
Отрезал с губы ус чернявый,
Говорил слова над дубравой:

— Уж ты, мать моя, голубица,
Сбереги ты ус на божнице;
Окропи его красным звоном,
Положи его под икону!

Гикал-ухал он под туманом,
Подымалась пыль за курганом.
А она в ответ, как не рада:
— Уж ты, сын ли мой, мое чадо!



На крутой горе, под Калугой,
Повенчался Ус с синей выюгой.
Лежит он на снегу под елью,
С весела-разгула, с похмелья.

Перед ним все знать да бояры,
В руках золотые чары.
— Не гнушайся ты, Ус, не злобуй,
Подымись, хоть пригубь, попробуй!

Нацедили мы вин красносочих
Из грудей из твоих из высоких.
Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!

Молчит Ус, не кинет взгляда, —
Ничего ему от земли не надо.
О другой он земле гадает,
О других небесах вздыхает...



Заждалася сына дряхлая вдовица,
День и ночь горя, сидя под божницей.
Вот прошло-проплыло уж второе лето,
Снова снег на поле, а его все нету.

Подошла, взглянула в мутное окошко...
„Не одна ты в поле катишься, дорожка!“
Свищет сокол-ветер, бредит тихим Доном.
— Хорошо б прижаться к золотым иконам...

Села и прижалась, смотрит кротко, кротко...
— На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?..
— А! — сверкнули слезы над увядшим усом,—
Это ты, о сын мой, смотришь Иисусом!

Радостно светит она из угла.
Песню запела и гребень взяла.
Лик ее старческий ласков и строг.
Встанет, присядет за печь, на порог.
Вечер морозный, как волк, темнобур...
Кличет цыплят и нахохленных кур:
— Цыпушки-цыпы, свет-петушок!.. —
Крепок в руке роговой гребешок.

Стала, уставилась лбом в темноту,
Чешет волосья младенцу Христу.

1914

ПЕВУЩИЙ ЗОВ

Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!
Догорели
Синие мятели,
И змея потеряла
Жало.

О, родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее,
Остановившие
На частоколе
Луну и солнце, —
Хвалите Бога!

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира!
Новый Назарет
Перед вами.
Уже славят пастыри
Его утро.
Свет за горами...

Сгинь, ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Не познать тебе Фавора,
Не расслышать тайный зов!
Отуманенного взора
На устах твоих покров.

Все упрямей, все напрасней
Ловит рот твой темноту.
Нет, не дашь ты правды в яслях
Твоему сказать Христу!

Но знайте,
Спящие глубоко:

Она загорелась,
Звезда Востока!
Не погасить ее Ироду
Кровью младенцев...

Пляши, Саломея, пляши!
Твои ноги легки и крылаты.
Целуй ты уста без души, —
Но близок твой час расплаты!
Уже встал Иоанн,
Изможденный от ран,
Поднял с земли
Отрубленную голову,
И снова гремят
Его уста,
Снова грозят
Содому:
— Опомнитесь!

Люди, братья мои люди,
Где вы? Отзовитесь!
Ты не нужен мне, бесстрашный,
Кровожадный витязь.

Не хочу твоей победы,
Дани мне не надо!

Все мы — яблони и вишни
Голубого сада.

Все мы — гроздья винограда,
Золотого лета,
До кончины всем нам хватит
И тепла и света!

Кто-то мудрый, несказанный,
Все себе подобя,
Всех живущих греет песней,
Мертвых — сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить!

1917

ТОВАРИЩ

Он был сын простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы, как ночь,
Да глаза голубые, кроткие.

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,
А Христос сидел на руках у Матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.

Жил Мартин, и никто о нем не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать марсельезу.

„Вырастешь, — говорил он, — поймешь...
Разгадаешь, отчего мы так нищи!“
И глухо дрожал его щербатый нож
Над чорствой горбушкой насущной пищи.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;
То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ...

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

За взмахом взмах,
Над трупом труп;

Ломает страх
Свой крепкий зуб.

Все взлет и взлет,
Все крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник...

И вот кому-то пробил
Последний, грустный час...
Но верьте, он не сробел
Пред силой вражьих глаз!

Душа его, как прежде,
Бесстрашна и крепка,
И тянется к надежде
Бескровная рука.

Он незадаром прожил,
Недаром мям цветы;
Но не на вас похожи
Угасшие мечты...

Нечаянно, негаданно
С родимого крыльца
Донесся до Мартина
Последний крик отца.

С потухшими глазами,
С пугливой синью губ,
Упал он на колени,
Обняв холодный труп.

Но вот приподнял брови,
Протер рукой глаза,
Вбежал обратно в хату
И стал под образа.

— Иус, Иус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый.
Но он не пал, как трус.
Я слышу — он зовет нас,
О, верный мой Иус.

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд.
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошел Иисус на землю
С неколебимых рук.

Идут рука с рукою,
А ночь черна, черна!..
И пыжится бедою
Седая тишина.

Мечты цветут надеждой
Про вечный вольный рок.
Обоим нежит вежды
Февральский ветерок.

Но вдруг огни сверкнули...
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

А там, где осталась Мать,
Где ему не бывать
Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,
Ловит лапой луну...

Ползает Мартин по полу:
„Соколы вы мои, соколы,
В плену вы,
В плену!“
Голос его все глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:
„Ре-эс-пу-у-ублика!“

1917

ОТЧАРЬ

1

Тучи — как озера,
Месяц — рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.

Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!

Голубые воды —
Твой покой и свет,
Гибельной свободы
В этом мире нет.

Пой, зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга!

Не обронит вечер
Красного ведра;
Могутные плечи —
Что гранит-гора.

2

Под облачным древом
Верхом на луне
Февральской мятью
Ревешь ты во мне.

Небесные дочери
Куделят кремник;
Учил тебя вере
Седой огневик.

Он дал тебе пику,
Грозовый ятаг
И силой Аники
Отметил твой шаг.

Заря — как волчиха
С ослабленным ртом;
Но гонишь ты лихо
Двуперстным крестом.

Протянешь ли руку,
Иль склонишь ты лик,
Кладешь ей краюху
На желтый язык.

И чуется зверю
Под радугой слов:
Алмазные двери
И звездный покров.

3

О, чудотворец!
Широкоскулый и красноротый,
Приявший в корузные руки
Младенца нежного,—
Укачай мою душу
На пальцах ног своих!

Я сын твой,
Выросший, как ветла

При дороге,
Научился смотреть в тебя,
Как в озеро.
Ты несказанен и мудр.

По сединам твоим
Узнаю, что был снег
На полях
И поемах.
По глазам голубым
Славлю
Красное
Лето.

4

Ах, сегодня весна, —
Ты взыграл, как поток!
Гладит волны челнок,
И поет тишина.

Слышен волховский звон
И Буслаев разгул,
Закружились под гул
Волга, Каспий и Дон.

Синегубый Урал
Выставляет клыки,
Но кадят Соловки
В его синий оскал.

Всех зовешь ты на пир,
Тепля клич, как свелу,
Прижимаешь к плечу
Нецелованный мир.

Свят и мирен твой дар,
Синь и песня в речах,
И горит на плечах
Необъемлемый шар!..

5

Закинь его в небо,
Поставь на столпы!
Там лунного хлеба
Златятся снопы.

Там голод и жажда
В корнях не поют,
Но зреет однажды
Свет ангельских юрт.

Там с вызвоном блюда
Прохлада куста,
И рыжий Иуда
Целует Христа.

Но звон поцелуя
Деньгой не гремит,
И цепь Акатуя —
Тропа перед скит.

Там дряхлое время,
Бродя по лугам,
Все русское племя
Сзывает к столам.

И славя отвагу
И гордый твой дух,
Сыченою брагой
Обносит их круг.

1918

ОКТОИХ

Гласом моим
Пожру ты, Господи.

Ц. О.

1

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Тебе, твоим туманам
И овцам на полях,
Несу, как сноп овсяный,
Я солнце на руках.

Святись преполовением
И рождеством святись,
Чтоб жаждущие бдения
Извечьем напились.

Плечьми трясем мы небо,
Руками зыбим мрак
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный знак.

О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом!
На золотой повети
Гнездится вешний гром.

Овсом мы кормим бурю,
Молитвой поим дол,
И пашню голубую
Нам пашет разум-вол.

И ни единый камень,
Через пращу и лук,
Не подобьет над нами
Подъятые Божьих рук.

— О, дево
Мария! —
Поют небеса, —
На нивы златые
Пролей волоса.

Омой наши лица
Рукою земли.
С за-гор вереницей
Плывут корабли.

В них души усопших
И память веков.
О, горе, кто ропщет,
Не снявши оков!

Кричащему в мраке
И бьющему лбом,
Под тайные знаки
Мы врат не сомкнем.

Но сгибни, кто вышел
И узрел лишь миг!
Мы облачной крышей
Придавим слепых.

О, Боже, Боже,
Ты ль
Качаешь землю в снах?
Созвездий светит пыль
На наших волосах.

Шумит небесный кедр
Через туман и ров,
И на долину бед
Спадают шишки слов.

Поют они о днях
Иных земель и вод,
Где на тугих ветвях
Кусал их лунный рот.

И шепчут про кусты
Непроходимых рощ,
Где пляшет, сняв порты,
Златоколенный дождь.

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,
Что в праздник он носил,
Глядит, как месяц, зябко
На снег родных могил.

С холмов кричу я деду:
— О, отче, отзовись...
Но тихо дремлют кедры,
Обвесив сучья вниз.

Не долетает голос
В его далекий брег...
Но чу! Звенит, как колос,
С земли растущий снег:

„Восстань, прозри и вижди!
Неосказуем рок.
Кто все живет и зиждет —
Тот знает час и срок.

Вострубят божьи клики
Огнем и бурей труб,
И облак желтоклыкий
Прокусит млечный пуп.

И вывалится чрево
Испепелить бразды...
Но тот, кто мыслил девой,
Взойдет в корабль звезды“.

1918

ПРИШЕСТВИЕ

А. Белому

1

Господи, я верую!..
Но введи в свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

За горой нехоженой,
В синеве долин
Снова мне, о, Боже мой,
Предстает твой сын.

По тебе молюся я
Из мужичьих мест:
Из прозревшей России
Он несет свой крест.

Но пред тайной острова
Безначальных слов
Нет за ним апостолов,
Нет учеников.

2

О Русь, Приснодева,
Поправшая смерть!
Из звездного чрева
Сошла ты на твердь.

На яслях овечьих
Осынила дол,
За то, что в предтечах,
Был пахарь и вол.

Воззри же на нивы,
На сжатый овес, —
Под снежною ивой
Упал твой Христос!

Опять Его вои
Стегают плетью
И бьют головою
О выступы тьмы...

Но к вихрю бездны
Он нем и глух.
С шеста созвездья
Поет петух.

О други, где вы?
Уж близок срок.
Темно ты, чрево,
И крест высок.

Вот гор воитель
Ощупал мглу.
Христа рачитель
Сидит в углу.

— Я видел: с ним он
Нам сеял мрак!
— Нет, я не Симон... —
Простой рыбак.

Вздохнула плесень,
И снег потух...
То третью песню
Пропел петух.

Ей, Господи,
Царю мой!
Дьяволы на руках
Укачали землю.

Снова пришествию Его
Поднят крест.
Снова раздирается небо.

Тишина полей и разума
Точит копья.
Лестница к саду Твоему
Без приступок.

Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?

Тянет меня земля,
Оцепили пески.
На реках Твоих
Сохну.

Симоне, Петр...
Где ты? Приди.
Вздрогнули ветлы:
„Там, впереди!“

Симоне, Петр...
Где ты? Зову!
Шепчется кто-то:
„Кричи в синеву!“

Крикнул — и громко
Вздыбился мрак.
Вышел с котомкой
Рыжий рыбак.

„Друг... Ты откуда?“
„Шол за тобой“...
„Кто ты?“ — „Иуда!“ —
Шамкнул прибор.

Рухнули гнезда
Облачных риз.
Ласточки-звезды
Канули вниз.

О, Саваофе!
Покровом Твоим рек и озер
Прикрой сына!

Под ивой бьют его вои
И голгофят снега твои.
О ланиту дождей
Преломи
Лезвее заката...

Трубами вьюг
Возвести языки...

Но не в суд или во осуждение.

7

Явись над Елеоном
И правде наших мест!
Горстями златых затонов
Мы окропим твой крест.

Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О, верю, верю — будет
Телиться твой восток!

В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долг срок до встречи,
А гибель так близка!

Уйми ты ржанье бури,
И топ громов уйми!
Пролей ведро лазури
На ветхое деньми!

8

И дай дочерпать волю
Медведицей и сном,
Чтоб вытекшей душою
Удобрить чернозем... 8

1918

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Разумнику Иванову

1

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Перед воротами в рай
Я стучусь;
Звездами спеленай
Телицу-Русь.

За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь.
Небесного молока
Даждь мне днесь.

Грозно гремит твой гром,
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудиил.

Но твердо, не глядя назад,
По ниве вод
Новый из красных врат
Выходит Лот.

2

Не потому ль в березовых
Кустах поет сверчок
О том, как ликом розовым
Окапал рожь восток;

О том, как Богородица,
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят.

С утра над осенницею
Я слышу зов трубы.
Теленькает синицею
Он про глагол судьбы.

„О, веруй, небо вспенится,
Как лай, сверкнет волна.
Над рощею оценится
Златым щенком луна.

„Иной травой и чашею
Отенит мир вода.
Малиновкой журчащею
Слетит в кусты звезда.

„И выползет из колоса,
Как рой, пшеничный знак,
Чтобы пчелиным голосом
Озлатонивить мрак“...

3

Ей, россияне!
Ловцы вселенной,
Неводом зари зачерпнувшие небо —
Трубите в трубы.

Под плугом бури
Ревет земля.
Рушит скалы златоклыкий
Омеж.

Новый сеятель
Бредет по полям,
Новые зерна
Бросает в борозды.

Светлый гость в колымаге к вам
Едет.
По тучам бежит
Кобылица.

Шлея на кобыле —
Синь.
Бубенцы на шлее —
Звезды.

4

Стихны, ветер,
Не лай, водяное стекло.
С небес через красные сети
Дождит молоко.

Мудростью пухнет слово,
Вязью колоса поля.
Над тучами, как корова,
Хвост задрала заря.

Вижу тебя из окошка,
Зиждитель щедрый,
Ризою над землею
Свесивший небеса.

Ныне
Солнце, как кошка,
С небесной вербы
Лапкою золотою
Трогает мои волоса.

5

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, —
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.

1918

ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА

1

Земля моя золотая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Несчислимая рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бейся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Крепкий и сильный,
На гибель твою,
В колокол синий
Я месяцем бью.

Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.

Вот она, вот голубица,
 Севшая ветру на длань.
 Снова зарею клубится
 Мой луговой Иордань.

Славлю тебя, голубая,
 Звездами вбитая высь.
 Снова до отчаго рая
 Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные нивы,
 С стадом буланных коней.
 С дудкой пастушеской в ивах
 Бродит апостол Андрей.

И, полная боли и гнева,
 Там, на окраине села,
 Мати Пречистая Дева
 Розгой стегает осла.

Братья мои, люди, люди!
 Все мы, все когда-нибудь
 В тех благих селеньях будем,
 Где протоптан млечный путь.

Не жалеете же ушедших,
Уходящих каждый час, —
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец
Счастье пестует не век.
Кто сегодня был любимец —
Завтра нищий человек.

5

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!
Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать.
Этим обычаем гостя
Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.

Июнь, 1918. 20—23.

Константиново.

ИНОНИЯ

Пророку Иеремии

1

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое припело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело
Выплываю из рта.
Не хочу воспрять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный —
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.

Даже Богу я выщиплю бороду.
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую,
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоём часослове я
Прокляю моим клювом слов.
Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем ночь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,

Чтобы зерна под крышей небесною
Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.
Говорю вам — вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой Бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев,—

Все равно — Он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.
Все равно он спалит телением,
Что ковало реке берега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олимпий
Начертать его новый лик.
Говорю вам — весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как златой колач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатысь, всколыхнут миры.

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом — рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздинами
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.
Говорю тебе — не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия
Бегущего овдой по горам!

Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно поlying, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копыта
Скатятся, взбороздив ночь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья,
И лицо закрою крылом.
За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.

И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.

Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе — будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.
И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.

Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку-мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, —
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
И тихо под шопот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:

„Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды,
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,

Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе.
Наша правда — в нас!“

1918

НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

2

Если это солнце
В заговоре с ними, —
Мы его всей ратью
На штыках подыдем.

Если этот месяц
Друг их черной силы, —
Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Разметим все тучи,
Все дороги взмесим.
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.

Солдаты, солдаты, солдаты —
 Сверкающий бич над смерчем.
 Кто хочет свободы и братства,
 Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною!
 Кому ненавистен туман,
 Тот солнце корявой рукою
 Сорвет на златой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам
 Лить зов над озерами сил —
 На тени церквей и острогов,
 На белое стадо горилл.

В этом зове калмык и татарин
 Почуют свой чаемый град,
 И черное небо хвостами,
 Хвостами коров воспалят.

Верьте, победа за нами!
 Новый берег недалек.
 Волны белыми когтями
 Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце — свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью вьюжной
Тает облако горилл.

Мы идем, а там, за чашей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

1918

ПАНТОКРАТОР

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече,
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.

Тысячи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

За седины твои кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: „К чорту старое!“,
Непокорный, разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в муть,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури —
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад.
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издающийся телок.

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро.

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чувствуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугуны сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье,
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.

Хвостом земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.

КОБЫЛЬИ КОРАБЛИ

1

Если волк на звезду завыл,
Значит небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.

Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смирада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам.
Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Плывите, плывите в высь!
Лейте с радуги крик вороний!
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.

2

Поле, поле, кого ты зовешь?
Или снится мне сон веселый —
Синей конницей скачет рожь,
Обгоняя леса и села?

Нет, не рожь! скачет по полю стужа,
Окна выбиты, настезь двери.
Даже солнце мерзнет, как лужа,
Которую напрудил мерин.

Кто это? Русь моя, кто ты? кто?
Чей черпак в снегов твоих накупь?
На дорогах голодным ртом
Сосут край зари собаки.

Им не нужно бежать в „туда“ —
Здесь, с людьми бы теплей ужиться.
Бог ребенка волчице дал,
Человек съел дитя волчицы.

О, кого же, кого же петь
 В этом бешеном зареве трупов?
 Посмотрите: у женщин третий
 Вылупляется глаз из пупа.

Вон он! Вылез, глядит луной,
 Не увидит ли помясистой кости.
 Видно, в смех над самим собой
 Пел я песнь о чудесной гостье.

Где же те? где еще одиннадцать,
 Что светильники сисек жгут?
 Если хочешь, поэт, жениться,
 Так женись на овце в хлеву.

Причащайся соломой и шерстью,
 Тепли песней словесный воск.
 Злой октябрь осыпает перстни
 С коричневых рук берез.

Звери, звери, приидите ко мне,
 В чашки рук моих злобу выплакаты!
 Не пора ль перестать луне
 В небесах облака лакать?

Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.

Если голод с разрушенных стен
Вцепится в мои волосы, —
Половину ноги моей сам съем,
Половину отдам вам высасывать.

Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.

5

Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый садовник осень
Головы моей желтый лист.

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветер.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Он пришел целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст.
Глубже, глубже, серпы стихов!
Сыпь черемухой, солнца куст!

1920

СОРОКОУСТ

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль пососать у мерина?

Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль — знай, бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровавленный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скряться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню.

Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх.
И дворовый молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осенницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с коней скребницей,
Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит.

И все сильнее тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Чорт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой разможжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой
И, соломой пропахший, мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленыя.
Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Также боитесь Бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних мокал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалика.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,

Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен воспоминаньем детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?
Попрежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злачные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерок зари коса.
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала...

Да, стара.

Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность!

Одна, как прежняя, белеется гора,

Да у горы

Высокий серый камень.

Здесь кладбище!

Подгнившие кресты,

Как будто в рукопашной мертвецы,

Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,

Идет старик, сметая пыль с бурьяна.

— Прохожий!

Укажи, дружок,

Где тут живет Есенина Татьяна?

— Татьяна... Гм...

Да вон за той избой.

А ты ей что?

Сродни?

Аль, может, сын пропащий?

— Да, сын.

Но что, старик, с тобой?

Скажи мне,

Отчего ты так глядишь скорбяще?

— Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..
— Ах, дедушка, ужели это ты?

И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

.....
— Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться.—
Он говорит, а сам все морщит лоб.
Да!.. Время!..
Ты не коммунист?
— Нет!
— А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! просто удавился!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...

Пойдем домой —
Ты все увидишь сам.

И мы идем, топча межей кукольной.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

.
.

— Здорово, мать! Здорово!
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя,—
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.

Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

— Ну, говори, сестра!

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как библию, пузатый „Капитал“,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

.
.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На переключке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
„Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

„Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать“.

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, невытыми речами
Они свою обсуживают „жись“.
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля,
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
„Уж мы его — и этак и раз-этак,—
Буржуя энтото... которого... в Крыму“...
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наявивая рьяно,

Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну, что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют, —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов итти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки —
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки,
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,—
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким „Русь“.

1924

мне грешно не любя сшаплой
Какая боль, какая тоска,
Знаю почему и вошла туда
нам в сентябре подой остальны

лучше годы разнесли
твое тепло и трепетная
~~как будто~~ далекий морской
с души кинного омертвела.

Ну вот! Я люблю это,
иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего
как этот молчаливый плен и сырость.

Ведь и себя я не обрел
для такой жизни, для улыбок
так мало пройдено дорог
так много сделано ошибок

Смешная жизнь! смешной разлад!
Так было и как будет после.
Как когда-нибудь усесться
в бороз изломанные кости.

Вот так же отцветали и мы
и отцвелим как гости сада.
Коль мой увянет среди жизни
так и грустнее о ней не надо

Сергей Есенин

РУСЬ БЕСПРИЮТНАЯ

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль
В угасшем скандалисте!
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Мы все по-разному
Судьбой своей оплаканы.
Кто крепость знал,
Кому Сибирь знакома.
Знать, потому теперь
Попы и дьяконы
О здравьи молятся
Всех членов Совнаркома.

И потому крестьянин
С водки штофа,
Рассказывая сродникам своим,
Глядит на Маркса,
Как на Саваофа,
Пуская Ленину
В глаза табачный дым.

Ирония судьбы!
Мы все отропщены.
Над старым твердо
Вставлен крепкий кол.
Но все ж у нас
Монашеские общины
С „аминам“ ставят
Каждый протокол.

И говорят,
Забыв о днях опасных:
— Уж как мы их...
Не в пух, а прямо в прах...
Пятнадцать штук я сам
Зарезал красных,
Да столько ж каждый,
Всякий наш монах.

Россия-мать!
Прости меня,
Прости!
Но эту дикость, подлую и злую,
Я на своем недлительном пути
Не приголублю
И не поцелую.

У них жилища есть,
У них есть хлеб,
Они с молитвами
И благостны и сыты.
Но есть на этой
Горестной земле,
Что всеми добрыми
И злыми позабыты.
Мальчишки лет семи-восьми
Снуют средь штатов без призора
Бестелыми корявыми костями, —
Они нам знак
Тяжелого укора.

Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль в угасшем скандалисте.
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.

Я тоже рос,
Несчастный и худой,
Средь жидких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.

В них Пушкин,
Лермонтов,
Кольцов,
И наш Некрасов в них,
В них я,
В них даже Троцкий,
Ленин и Бухарин.
Не потому ль моею грустью
Веет стих,
Глядя на их
Невымытые хари.

Я знаю будущее...
Это их...
Их календарь...
И вся земная слава.

Не потому ль
Мой горький буйный стих
Для всех других —
Как смертная отрава.

Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

1924

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню —
Ну, где же старикам
За юношами гнаться?

Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам —
Ни молодой, ни старый —
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.
Что видел я?

Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду.

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканное цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей.
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человеческих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!

Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди —
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
— С Советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного.

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю — грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

1924.

НА КАВКАЗЕ

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
„Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной“.

И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.

За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари.
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрывать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпической темой.

Мне мил стихов российский жар —
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,
Его стихи, как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать
И то, как надо, не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забить ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
„Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной“.

1924

ПОЭТАМ ГРУЗИИ

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века все смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.

Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дрались сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

С любовью — прекрасному художнику Г. Якулову

Пой песню, поэт,

Пой.

Ситец неба такой

Голубой.

Море тоже рокошет

Песнь.

Их было

26.

26 их было,

26.

Их могилы песками

Не занести.

Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было, 26.
Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
„Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет Азербайджан“.
.
.
Ночь, как дыню,
Катит луну.

Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич,
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,

18-й, несчастный

Год.

Тогда буржуа

Всех стран

Обстреливали

Азербайджан.

Тяжел был Коммуне

Удар.

Не вынес сей край

И пал,

Но жутче всем было

Весть

Услышать

Про 26.

В пески, что как плавленный

Воск,

Свезли их

За Красноводск,

И кто саблей,

Кто пуль в бок —

Всех сложили на желтый

Песок.

26 их было,

26.

Их могилы пескам
Не занести.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.
26 их было,
26.

.
Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.

О них наша боль
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
— Джапаридзе,
Иль я ослеп,
Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть — как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда.

Джапаридзе в ответ:
— Да, есть.
Это очень приятная
Весть.

Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял нас
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич,
Был наш строгий отец
Ильич.

А на Востоке
Здесь
26 их было,
26.

.
Свет небес все синей
И синей.
Молкнет говор
Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...

Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокошет
Песнь —
26 их было,
26.

1924

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене;
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был, как лошадь, загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу

Лица не увидеть.

Большое видится на расстояньи.

Когда кипит морская гладь —

Корабль в плачевном состояньи.

Земля — корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой

В прямую гущу бурь и вьюг

Ее направил величаво.

Ну, кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых —
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

.
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.

И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был,
И что со мною случилось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.

За знамя вольности
И светлого труда
Готов итти хоть до Ламанша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем,
Что не нужна вам наша маята,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

Сергей Есенин.

1924

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Чего же мне
Еще теперь придумать,
О чем теперь
Еще мне написать?
Передо мной
На столике угрюмом
Лежит письмо,
Что мне прислала мать.

Она мне пишет:
Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты —

У нас в дому
Большие недостатки.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохую.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Стара я стала
И совсем плоха,
Но если б дома
Был ты изначала,
То у меня
Была б теперь сноха
И на ноге
Внучонка я качала.

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,

Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Любимый сын мой,
Что с тобой?
Ты был так кроток,
Был так смиренен.
И говорили все наперебой:
Какой счастливый
Александр Есенин!

В тебе надежды наши
Не сбылись,
И на душе
С того больней и горше,
Что у отца
Была напрасной мысль,
Чтоб за стихи
Ты денег брал побольше.

Хоть сколько б ты
Ни брал,
Ты не пошлешь их в дом,
И потому так горько
Речи льются,

Что знаю я
На опыте твоём:
Поэтам деньги не даются.

Мне страх не нравится,
Что ты поэт,
Что ты сдружился
С славою плохую.
Гораздо лучше б
С малых лет
Ходил ты в поле за сохою.

Теперь сплошная грусть,
Живем мы, как во тьме.
У нас нет лошади.
Но если б был ты в доме,
То было б все,
И при твоём уме —
Пост председателя
В волисполкоме.

Тогда б жилось смелей,
Никто б нас не тянул,
И ты б не знал
Ненужную усталость.

Я б заставляла
Прясть
Твою жену,
А ты, как сын,
Покоил нашу старость.

.

Я комкаю письмо,
Я погружаюсь в жуть.
Ужель нет выхода
В моем пути заветном?
Но все, что думаю,
Я после расскажу —
Я расскажу
В письме ответном..

1924

ОТВЕТ

Старушка милая,
Живи, как ты живешь.
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.
Но только ты
Ни капли не поймешь —
Чем я живу
И чем я в мире занят!

Теперь у вас зима.
И лунными ночами,
Я знаю, ты
Помыслишь не одна,

Как будто кто
Черемуху качает
И осыпает
Снегом у окна.

Родимая!
Ну, как заснуть в мятель?
В трубе так жалобно
И так протяжно стонет.
Захочешь лечь,
Но видишь не постель,
А узкий гроб
И — что тебя хоронят.

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!

Я более всего
Весну люблю.
Люблю разлив
Стремительным потоком,

Где каждой щепке,
Словно кораблю,
Такой простор,
Что не окинешь оком

Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!

Но эта пакость —
Хладная планета!
Ее и Солнцем-Лениным
Пока не растопить!
Вот потому
С больной душой поэта .
Пошел скандалить я,
Озорничать и пить.

Но время будет,
Милая, родная!
Она придет, желанная пора!

Недаром мы
Присели у орудий:
Тот сел у пушки,
Этот — у пера.

Забудь про деньги ты,
Забудь про все.
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ведь не корова я,
Не лошадь, не осел,
Чтобы меня
Из стойла выводили!

Я выйду сам,
Когда настанет срок,
Когда пальнуть
Придется по планете,
И, воротясь,
Тебе куплю платок,
Ну, а отцу
Куплю я штуки эти.

Пока ж — идет мятель,
И тысячей дьячков
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга.

И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга.

1924

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушках, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке —
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.

Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.

Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

— Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов.
Воспой, поэт,
Что крепче и живей.

Нефть на воде —
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустриальной мощи,
Я слышу голос человеческих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —

Нам на земле
Устроить это проще.
И самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
— Настал наш срок.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк.

1924

ПИСЬМО ДЕДУ

Покинул я
Родимое жилище.
Голубчик! Дедушка!
Я вновь к тебе пишу...
У вас под окнами
Теперь метели свищут,
И в дымовой трубе
Протяжный вой и шум,

Как будто сто чертей
Залезло на чердак.
А ты всю ночь не спишь
И дрыгаешь ногою.
И хочется тебе
Накинуть свой пиджак,
Пойти туда,
Избить всех кочергою.

Наивность милая
Нетронутый души!
Недаром прадед,
За овса три меры,
Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить: „Достойно есть“
И с „Отче“ „Символ веры“.

Хорошего коня пасут.
Отборный корм
Ему любви порука.
И самого себя
Призвав на суд,
Тому же самому
Ты обучать стал внука.

Но внук учобы этой
Не постиг
И, к горечи твоей,
Ушел в страну чужую.
По-твоему, теперь
Бродягою брожу я,
Слагая в помыслах
Ненужный глупый стих.

Ты говоришь:
Что у тебя украли,
Что я дурак,
А город — плут и мот.
Но только, дедушка,
Едва ли так, едва ли —
Плохую лошадь
Вор не уведет.

Плохую лошадь
Со двора не сгонишь,
Но тот, кто хочет
Знать другую гладь,
Тот скажет:
Чтоб не сгнить в затоне,
Страну родную
Нужно покидать.

Вот я и кинул.
Я в стране далекой.
Весна.
Здесь розы больше кулака,
И я твоей
Судьбине одинокой
Привет их теплый
Шлю издалика.

Теперь метель
Во-всю свистит в Рязани,
А у тебя
Меня увидеть зуд.
Но ты ведь знаешь —
Никакие сани
Тебя сюда
Ко мне не завезут.

Я знаю —
Ты б приехал к розам,
К теплу.
Да только вот беда:
Твое проклятье
Силе паровоза
Тебя навек
Не сдвинет никуда.
А если я помру?
Ты слышишь, дедушка,
Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне „аллилуя“?

Тогда садись, старик.
Садись без слез,
Доверься ты
Стальной кобыле.
Ах, что за лошадь,
Что за лошадь паровоз!
Ее, наверное,
В Германии купили.
Чугунный рот ее
Привык к огню,
И дым над ней, как грива—
Черен, густ и четок.
Такую б гриву
Нашему коню—
То сколько б вышло
Разных швабр и щеток!

Я знаю—
Время даже камень крошит...
И ты, старик,
Когда-нибудь поймешь,
Что, даже лучшую
Впрягая в сани лошадь,
В далекий край
Лишь кости привезешь...

Поймешь и то,
Что я ушел недаром
Туда, где бег
Быстрее, чем полет.
В стране, объятай вьюгой
И пожаром,
Плохую лошадь
Вор не уведет.

1924

ЛЕНИН

ОТРЫВОК ИЗ ПОЕМЫ „ГУЛЯЙ-ПОЛЕ“

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край,
Душа сжимается от боли —
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна,
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междуусобный рвет раздор.
.
Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных,—
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

.
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

.
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

.
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет...

.
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен.

.
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.

.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

1928 г.

МЕТЕЛЬ

Прядите, дни, свою былую пряжу,
Живой души не перестроить в век,
Нет!

Никогда с собой я не полажу —
Себе, любимому,
Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,
Долит зевота,
Так и клонит в сон...
А за окном
Протяжный ветер рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.
Какой он клен?
Он просто столб позорный —
На нем бы вешать
Иль отдать на слом.
И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной —
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.
Я не люблю
Распевы петуха
И говорю,
Что если был бы в силе,
То всем бы петухам
Я выдрал потроха,
Чтобы они
Ночью не голосили.
Но я забыл,
Что сам я петухом
Орал во-всю

Перед рассветом края,
Отцовские заветы попирая,
Волнуясь сердцем
И стихом.
Визжит метель,
Как будто бы кабан,
Которого зарезать собрались.
Холодный,
Ледяной туман —
Не разберешь,
Где даль,
Где близь...

Луну, наверное,
Собаки съели —
Ее давно
На небе не видать.
Выдергивая нитку из кудели,
С веретеном
Ведет беседу мать.
Оглохший кот
Внимает той беседе,
С лежанки свесив
Важную главу.
Недаром говорят
Пугливые соседи,

Что он похож
На черную сову.
Глаза смежаются,
И как я их прищурю,
То вижу въявь
Из сказочной поры:
Кот лапой мне
Показывает дулю,
А мать — как ведьма
С киевской горы.
Не знаю, болен я
Или не болен,
Но только мысли
Бродят невпопад.
В ушах могильный
Стук лопат
С рыданьем дальних
Колоколен.
Себя усопшего
В гробу я вижу,
Под аллилуйные
Стенания дьячка.
Я веки мертвому себе
Спускаю ниже,
Кладя на них
Два медных пяточка.

На эти деньги,
С мертвых глаз,
Могильщику теплее станет,—
Меня зарыв,
Он тот же час
Себя сивухой остаканит.

И скажет громко:
— Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из „Капитала“.

ВЕСНА

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в „Капитале“,
Что для поэтов —
Свой закон.

Метель теперь
Хоть чортом вой,
Стучись утопленником голым, —
Я с отрезвевшей головой
Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,

Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону.
И коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.

Закон вращения в мире есть,
Он — отношенье
Средь живущих.
Коль ты с людьми единой куши —
Имеешь право
Лечь и сесть.

Привет тебе,
Мой бедный клен!
Прости, что я тебя обидел.
Твоя одежда в рваном виде,
Но будешь
Новой наделен.

Без ордера тебе апрель
Зеленую отпустит шапку,

И тихо
В нежную охапку
Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,
Водой окатит из колодца,
Чтобы в суровом октябре,
Ты мог с метелями бороться.

А ночью
Выплывет луна —
Ее не слопали собаки:
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.

Но драка кончилась...
И вот —
Она своим лимонным светом
Деревьям, в зелень разодетым,
Сиянье звучное
Польет.

Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами!

Я нынче, отходя ко сну,
Не поругаюсь
С петухами.

Земля, земля!
Ты не металл,—
Металл ведь
• Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку
И вдруг —
Понятен „Капитал“.

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

О Дельвиге писал наш Александр,
О черепе выласкивал он
Строки.
Такой прекрасный и такой далекий,
Но все же близкий,
Как цветущий сад!

Привет, сестра!
Привет, привет!
Крестьянин я иль не крестьянин?!
Ну, как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?

И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень.
И каждую березку обнимая,
Я был пьяней,
Чем синий день.

Березки!
Девушки-березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.

Сестра! Сестра!
Друзей так в жизни мало!
Как и на всех,
На мне лежит печать...
Коль сердце нежное твое
Устало,
Заставь его забыть и замолчать...

Ты Сашу знаешь.
Саша был хороший.
И Лермонтов
Был Саше по плечу.
Но болен я..
Сиреновой порошей
Теперь лишь только
Душу излечу.

Мне жаль тебя —
Останешься одна,
А я готов дойти
Хоть до дуэли.
„Блажен, кто не допил до дна“ ¹⁾
И не дослушал глас свирели.

¹⁾ Слова Пушкина.

Но сад наш!..
Сад...
Ведь и по нем весной
Пройдут твои
Заласканные дети.
О!
Пусть они
Помянут невпопад,
Что жили...

Чудаки на свете.

МОЙ ПУТЬ

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер мятели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Мятель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерешились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб —
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в чорта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы, как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
„Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл“.

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Взлюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.

.

Года текли.
Года меняют лица —
Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первокласснейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,

Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрав.

На кой мне чорт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну, что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочей рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы,—
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царшине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,

Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная... А груди...
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей, обрызганные солнцем,
Люди
Везут навстречу мне
В телегах рожь.

Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну, и пускай,
Пускай себе пройдет...

И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей, —
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну, что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.
И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.

СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО
КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ

Пастушонку Пете
Трудно жить на свете:
Тонкой хворостиной
Управлять скотиной.

Если бы корова
Понимала слово,
То жилось бы Пете
Лучше нет на свете.

Но коровы в спуске
На траве у леса,
Говори по-русски,
Смыслят ни бельмеса.

Им бы лишь мычалось,
Да трава качалась,—
Трудно жить на свете
Пастушонку Пете.

Хорошо весною
Думать под сосною,
Улыбаясь в дреме,
О родимом доме.

Май все хорошеет,
Ели все игольчей;
На коровьей шее
Плачет колокольчик.

Плачет и смеется
На цветы и травы,
Голос раздается
Звоном средь дубравы.

Пете пастушонку
Голоса не новы,—
Он найдет сторонку,
Где звенят коровы.

Соберет всех в кучу,
На село отгонит,
Не получит взбучу —
Чести не уронит.

Любо хворостиной
Управлять скотиной —
В ночь у перелесиц
Спи и плюй на месяц.



Ну, а если лето —
Песня плохо спета.
Слишком много дела —
В поле рожь поспела.

Ах, уж не с того ли
Дни похорошели, —
Все колосья в поле,
Как лебяжьи шеи.

Но беда на свете
Каждый час готова.
Зазевался Петя, —
В рожь зайдет корова.

А мужик, как взглянет,
Разведет ручищей
Да как в спину втянет
Прямо кнутовищей.

Тяжко хворостиной
Управлять скотиной.



Вот приходит осень
С цепью кленов голых,
Что шумит, как восемь
Чертенят веселых.

Мокрый лист с осины
И дорожных ивок
Так и хлещет в спину,
В спину и в загривок.

Елка ли, кусток ли,
Только вплоть до кожи
Сапоги промокли,
Одежка — тоже.

Некому открыться,
Весь как есть пропащий.

Вспуганная птица
Улетает в чащу.

И дрожишь полсутки
То душой, то телом.
Рассказать бы утке —
Утка улетела.

Рассказать дубровам —
У дубровы опадь.
Рассказать коровам —
Им бы только лопать.

Нет, никто на свете
На обмокшем спуске
Пастушонка Петю
Не поймет по-русски.

Трудно хворостиной
Управлять скотиной.



Мыслит Петя с жаром:
То ли дело в мире
Жил он комиссаром
На своей квартире.

Знал бы все он сроки,
Был бы всех речистей,
Собирал оброки
Да дороги чистил.

А по вязкой грязи,
По осенней тряске
Ездил в каждом разе
В волостной коляске.

И приснился Пете
Страшный сон на свете.



Все доступно в мире,—
Петя комиссаром
На своей квартире
С толстым самоваром.

Чай пьет на террасе,
Ездит в тарантасе.
Лучше нет на свете
Жизни, чем у Пети.

Но всегда не даром
Служат комиссаром:

Нужно знать все сроки,
Чтоб собирать оброки.

Чай, конечно, сладок,
А с вареньем дважды,
Но блюсти порядок
Может, да не каждый.

Нужно знать законы,
Ну, а где же Пете?
Он еще иконы
Держит в волсовете.

А вокруг совета
В дождь и непогоду
С самого рассвета
Уймище народу.

Наш народ ведь голый,
Что ни день, то с требой,—
То построй им школу,
То давай им хлеба.

Кто им наморочил?
Кто им накудахтал?
Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Ну, а где же Пете?
Он ведь пас скотину —
Понимал на свете
Только хворостину.

А народ суровый
В ропоте и гаме
Хуже, чем коровы,
Хуже и упрямей.

С эдаким товаром
Дрянь быть комиссаром.

Взяли раз Петрушу
За живот, за душу,
Бросили в коляску
Да как дали таску...

.

Тут проснулся Петя.
Сладко жить на свете!



Встал, а день что надо,—
Солнечный, звенящий,
Легкая прохлада
Овевает чащи.

Петя с кротким словом
Говорит коровам:
— Не хочу и даром
Быть я комиссаром.—

А над ним береза,
Веткой утираясь,
Говорит сквозь слезы,
Тихо улыбаясь:

— Тяжело на свете
Быть для всех примером.
Будь ты лучше, Петя,
Раньше пионером.



Малышам в острастку,
В мокрый день осенний,
Написал ту сказку
Я — Сергей Есенин.

Октябрь, 1925.

ПЕСНЬ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ

За поемами Улыбыша
Кружат облачные вентери.
Закурилася ковыльница
Подкопытною танагою.

Ой, не зымь лузга-заманница
Запоршила переточины —
Подымались злы татаровья
На Зарайскую сторонушку.

Не ждала Рязань, не чуяла
А и той разбойной допоти,
Под фатой варяжьей засынькой
Коротала ночку темную.

Не совиный ух защурился,
И не волчья пасть оскалилась, —
То Батый с холма Чурилкова
Показал орде на зарево.

Как взглянули звезды-ласточки,
Загадали думу-полымя:
Чтой-то Русь захолынулася,
Аль не слышит лязгу бранного?

Щебетнули звезды месяцу:
„Ой, ты, желтое ягнятище!
Ты не мни траву небесную,
Перестань бодаться с тучами.

„Подыми-ка глаза-уголья
На Рязанскую сторонушку
Да позарься в кутомарине,
Что там движется-колышется?“

Как взглянул тут месяц с привязи,
А ин жвачка зубы вытерпла,
Поперхнулся с перепужины
И на землю кровью кашлянул.

Ой, текут кровя сугорами,
Стонут пасшинные пажити,
Разыгрались злы татаровья,
Кровь полониками черпают.

Впереди сам хан на выпячи,
На коне сидит улыбисто
И жует, слюнявя бороду,
Кус подохлой кобылятины.

Говорит он псиным голосом:
„Ой-ли, титники братанове,
Не пора ль с пира-пображни
Настремнить коней в Московию?“



От Ольшан до Швивой заводи
Знают песни про Евпатия.
Их поют от белой вызнати
До холопного сермяжника.

Хоть и много песен сложено,
Да не слову не уважено,
Не сочесть похвал той удали,
Не ославить смелой доблести.

Вились кудри у Евпатия,
В три ряда на плечи падали.
За гленищем ножик сеченый
Подпирал колено белое.

Как держал он кузню-крыницу,
Лошадей ковал да бражничал,
Да пишнёвые угорины
Двумя пальцами вытягивал.

Много лонешнего смóлота
В закромах его затулено.
Не один рукав молодушек,
Утираясь, продырявился.

Да не любы вишь удалому
Эти всхлипы серых журушек,
А мила ему зазнобушка,
Что ль Рязанская сторонушка.



Ой, не совы плачут полночью —
За Коломной бабы хныкают:
В хомутах и наколодниках
Повели мужей татаровья.

Свищут потные погоньщики,
Подгоняют полонянных,
По пыжну путю-дороженьке
Ставят вехами головушки.

Соходилися боярове,
Суд ладили, споры ладили,
Как смутить им силу вражью,
Соблюсти им Русь кондовую.

Снаряжали побегушника,
Уручали светлой грамотой:
„Ты беги, зови детинушку
На усуду свет-Евпатия“.



Ой, не колоб в поле катится
На позыв колдуньи с Шехмина —
Проскакал ездок на пилево,
Да назад опять ворочает.

На полях рязанских светится
Березняк при блеске месяца,
Освещая путь-дороженьку
От Ольшан до Швивой заводи.

Прискакал ездок к Евпатию,
Вынул вязевую грамоту:
„Ой, ты, лазушный Баторе,
Выручай ты Русь от лихости!“.



У Палаги-шинкачерихи
На меду вино развожено,
Кумачовые кумашницы
Душниками занавешены.

Соходилися товарищи
Свет хороброго Евпатия,
Над сивухой думы думали,
Запивали думы брагою.

Говорил Евпатий бражникам:
„Ой-ли, други закадычные,
Вы не пейте зелена вина,
Не губите сметку русскую.

„Зелено вино — мыслям пагуба,
Телесам оно, что коса траве.
Налетят на вас злые вороги
И развеют вас по соломенке!“.



Не заря течот за Коломною.
Не пожар стоит над путиною —
Бьются соколы-дружинники,
Налетая на татаровье.

Всколыхнулось сердце Батия,
Что случилось там, приключилось?
Не рязанцы ль встали мертвые
На побоище кроволитное?

А рязанцам стать —
Только спяну спать,
Не в бою бы быть,
А в снопах лежать.

Скачет хан на бела батыря,
С губ бежит слюна капучая.
И не меч Евпатий вытянул,
А свеча в руках затеплилась.

Не березки-белоличушки
Из-под гоноби подрублены —
Полегли соколья-друзники
Под татарскими насечками.

Возговорит лютый ханище:
„Ой-ли, черти, куралесники,
Отешите череп батыря
Что ль на чашу на сивушную“.

Уж он пьет, не пьет, курвяжится,
Оглянётся да понюхает:
„А всего ты, сила русская,
На тыновье загодила“.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
А. К. Воронский. Сергей Есенин	V
Марфа Посадница	3
Микола	9
Русь	15
Ус	20
Певущий зов	24
Товарищ	28
Отчарь	34
Октоих	40
Пришествие	46
Преображение	53
Иорданская голубица	59
Инония	64
Небесный барабанщик	74
Пантократор	78
Кобыльи корабли	82
Сорокоуст	87
Исповедь хулигана	91

	<i>Стр.</i>
Возвращение на родину	95
Русь советская	100
Русь бесприютная	105
Русь уходящая	110
На Кавказе	115
Поэтам Грузии	119
Баллада о 26	123
Письмо к женщине	131
Письмо от матери	136
Ответ	141
Стансы	146
Письмо деду	151
Ленин	157
Метель	162
Весна	167
Письмо к сестре	171
Мой путь	175
Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве.	183
Песнь о Евпатии Коловрате	192

На стр. 161-й под стихотворением „Ленин“ помещена ошибочная дата „1923“; нужно „1924“.



1926

2 руб.